

Иван Елагин



1

Иван Елагин

Иван Елагин

1

Иван Елагин

Иван Елагин

Иван Елагин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВУХ ТОМАХ



МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 1998

Иван Елагин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Стихотворения

МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 1998

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
Е47

Руководитель программы «Согласие»
В.В.Михальский

Составление, подготовка текста,
вступительная статья, примечания
Е.В.Витковского

Редактор
В.П.Кочетов

Художник
С.А.Стулов

ISBN 5-86884-063-1 (Т.1)
ISBN 5-86884-062-3

© И.И.Матвеева, 1998
© Е.В.Витковский. Составление,
подготовка текста, вступительная статья, примечания, 1998
© С.А.Стулов. Оформление, 1998
© «Согласие», 1998

СОСТОЯВШИЙСЯ ЭМИГРАНТ

Цитаты к биографии привяжут,
Научно проследят за пядью пядь.
А как я видел небо — не расскажут,
Я сам не мог об этом рассказать.

Иван Елагин

В феврале 1986 года Александр Солженицын писал Ивану Елагину:

«В последнем Вашем сборнике прочел “Зачем я утром к десяти часам...” — и устыдился, что за все годы за границей так и не собрался Вам написать. Хотя читал Ваши стихи еще и будучи в Союзе, и тогда уже отличил Вас для себя от других эмигрантских поэтов и как автора из Второй эмиграции — это всё поколение, с которым я сидел в тюрьмах 1945—47 годов (несостоявшиеся эмигранты...). Одинаковость нашего возраста роднит и в воспоминаниях юношеских: с волнением читал когда-то в “Гранях” Ваши стихотворные юношеские воспоминания»¹.

За целую эпоху до того, в 1949 году, Елагину писал другой Нобелевский лауреат — Иван Бунин:

«Дорогой поэт, Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости...»²

Третий Нобелевский лауреат, Иосиф Бродский, запечатленный вместе с Елагиным на фотоснимке 1974 года в Питсбурге, только силой своего авторитета добился того, что «Ардис» выпустил огромным томом главный переводческий труд Елагина — поэму Стивена Винсента Бене «Тело Джона Брауна», своего рода американскую «Войну и мир». Бродский многократно звонил Елагину во время его предсмертной болезни, он же вместе с Юзом Алешковским и Львом Лосевым подписал некролог Елагина, появившийся в русских зарубежных изданиях. Всего год оставался до первых больших публикаций Елагина в «Огоньке», «Неве», «Новом мире»...

А в прежние времена желание тех, кто любил Елагина и его стихи, как-то помочь поэту, «легализовать» его в СССР доводило до действий, граничащих с отчаянием. В небольшой поэме, опубликованной в 1972 году в «Известиях», Евгений Евтушенко фактически Елагина процитировал: «Кто не убьет войну, / Того война убьет»³, — а когда настало время,

¹ Впервые опубликовано: Canadian-American Studies. 1993. V.27, №14. P.292 (номер целиком посвящен Ивану Елагину).

² Впервые опубликовано в виде факсимиле: Рубеж (Москва—Владивосток). 1992. №1/863. С.98.

³ Если быть точным, у Евтушенко: «Кто не убьет войну — Того убьет война».

первым напечатал его в СССР на страницах «Огонька» в июне 1988 года.

В довоенные годы ввести молодого поэта в «советскую литературу» пытался Максим Рыльский. Первая и единственная публикация Елагина, тогда еще Ивана Матвеева, состоялась в газете «Советская Украина» 28 января 1941 года: это был авторизованный перевод стихотворения Рыльского «Концерт». Рыльский собирался и дальше держать Ваню Матвеева переводчиком «при себе», по тем временам это было немало, но пришла война и разделила поколение тех, кто родился в гражданскую, на эмигрантов состоявшихся и несостоявшихся. Среди первых оказался Иван Елагин, среди вторых — Александр Солженицын и его товарищи по лагерям. Еще один их ровесник, Александр Галич, назвал свое поколение *поколением обреченных*.

Поэт, литературовед, издатель филладельфийского поэтического альманаха «Встречи» Валентина Синкевич как-то обмолвилась, что у литераторов «второй волны» эмиграции часто различаются не только биографии, но даже автобиографии. В месяцы позорных послевоенных «выдач», черным пятном и по сей день украшающих совесть западных союзников СССР, беженцы любыми правдами и неправдами обзаводились не только псевдонимами, но и широким ассортиментом фальшивых паспортов и справок; Елагин подробно рассказывает об этом в «Беженской поэме». Одно-единственное государство Европы, крошечный Лихтенштейн, отказалось выдавать «бывших советских граждан!» «Псевдонимного страха» хватило на четверть века. Даже в декабре 1969 года старый царскосельский поэт Дмитрий Кленовский в письме к архиепископу Иоанну Санфранцисскому (Шаховскому) испуганно писал по поводу того, что архиепископ в одной из бесед по «Голосу Америки» назвал его настоящую фамилию — Крачковский: «Если СССР вторгнется в Западную Германию — все его бывшие граждане, в ней проживающие, станут его добычей, и их выловят по готовым спискам всех до одного для последующей расправы. Вот потому-то все эмигранты, живущие в Европе, и особенно в Германии, всячески скрывают всякие о себе данные, так приходилось и приходится поступать и мне; и до сегодняшнего дня мой литературный псевдоним ни в печати, ни в радио раскрыт не был. Теперь это произошло и обоих нас чрезвычайно встревожило»¹.

Иван Елагин, по документам — Иван Матвеев, с 1950 года жил в США и едва ли опасался «вторжения». Однако в русской мюнхенской газете «Голос народа» в июле 1959 года находим такой вариант биографии поэта:

«Иван Венедиктович Елагин (тогда еще просто *Ваня Елагин*) жил в тех краях, где приамурские партизаны «свой за-

¹Странник. Переписка с Кленовским. Париж, 1981. С.249.

кончили поход” на Тихом океане — во Владивостоке. Там он и родился — в тысяча девятьсот восемнадцатом году, в семье профессора... Затем Елагин уехал из родного города, готовился стать врачом, — но стал в конце концов поэтом — поэтом российского зарубежья»¹. Ниже безымянный автор статьи цитирует знаменитые елагинские «Звезды» и резюмирует: «Такова картина ареста профессора — отца поэта». Назвать родного отца Елагина, богемного поэта-футуриста, «профессором» трудно даже в порядке издевательства, зато очень удобно в виде «дымовой завесы»: если не ради самого Елагина, то хотя бы, к примеру, чтобы не портить в СССР жизнь двоюродной сестре поэта, годом раньше очень ярко выступившей в печати с собственными стихами, — Новелле Матвеевой.

Елагин противился мнению, что его поэзия автобиографична, и трудно судить — верил он в это сам или нет. В жизни его было столько всего разного, что в поэзию факты биографии неизбежно просачивались, к тому же в конце жизни Елагин попросту написал мемуары в стихах (поэмы «Память», «Беженская поэма», «Нью-Йорк — Питсбург»), и факты, почерпнутые оттуда, поддаются проверке. Да и воспоминаний о нем за последнее десятилетие написано немало. Попробуем восстановить жизнь поэта хотя бы в общих чертах.

Итак: Иван Елагин родился...

Строго говоря, 1 декабря 1918 года во Владивостоке родился еще не Иван Елагин. Новорожденному мальчику молодой папаша, гремевший в те годы в Приморье своими стихами, дал другое имя. На сборнике Венедикта Марта «Луна», изданном в Харбине в 1922 году, находим посвящение:

Лунных Зайчиков — Зайчику
Уотту-Зангвильду-Иоанну Марту
Сыну моему возлюбленному
«Бисер лунного сока»
посвящаю
Автор

Что и говорить, именем отец наградил сына экзотическим. Владивостокский писатель-краевед рассказывает о появлении на свет будущего поэта так: «...в бывшей Матросской слободке, на Абрекской, названной некогда в честь клипера, век назад торившего пути россиян на Дальнем Востоке, на краю распада стоял под номером “9” кирпичный двухэтажный дом, глядевший десятью окнами на горбатую улочку. В этом доме и родился <...> в семье набиравшего известность

¹ Голос народа (Мюнхен). 1959. Июль, №6 (специальный выпуск).

поэта-футуриста Венедикта Марта сын, названный при крещении Зангвилем...»¹

Об этом событии Елагин напишет после того, как отпразднует свое пятидесятилетие:

Я родился под острым присмотром начальственных глаз,
Я родился под стук озабоченно-сучной печати.
По России катился бессмертного «яблочка» пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.

И родился будущий Иван Елагин даже не в РСФСР: в начале 1918 года в бухту Золотой Рог вошел японский крейсер, затем английский — Владивосток был оккупирован. С апреля 1920 по осень 1922 года город находился на территории марионеточной Дальневосточной республики (и даже не был ее столицей!). В те годы в городе кипела литературная и политическая жизнь, выходили книги по старой орфографии, ни белых офицеров, ни «японских пособников» никто не трогал, — но ясно было, что долго такое положение не протянется. Николай Петрович Матвеев, известный больше под псевдонимом Амурский, автор первой «Истории города Владивостока» (1910), решил свои отношения с Россией переменить раз и навсегда. Воспользовавшись тем, что родился он в 1865 году в Хакодате (в семье фельдшера русской православной миссии) и с детства знал японский язык как родной, Н.П. Матвеев взял четверых младших детей (всего их у него было двенадцать) и в марте 1919 года уехал в Японию. Навсегда. Его сын Венедикт — тот самый Венедикт Март — тоже вскоре отбыл в Харбин. Там он выпустил по меньшей мере семь поэтических сборников. Лишь в конце 1923 года вместе с женой и пятилетним сыном Венедикт Март перебрался в СССР.

Кстати, об имени Матвеева-внука. Едва ли Венедикт Март оставил сына некрещеным; его собственным крестным отцом был народоволец Иван Ювачев, ссыльный, в будущем — отец Даниила Хармса, но сколько я ни рылся в самых полных святцах — имени Зангвильд или Зангвиль в них нет. Со всем невероятный вариант происхождения этого имени приводит в своих воспоминаниях писательница Татьяна Фесенко: «Его мать, давно умершая, была еврейка, и из преклонения перед англо-еврейским писателем И.Зангвилем (1864—1926) <...> дала сыну <...> его имя. При постоянных проверках документов оккупационными властями (немецкими. — *Е.В.*) Ваня решил прибавить к своему имени в конце “д” — получилось нечто древнегерманское, прямо вагнеров-

¹ Дьяченко Борис. Клан Матвеевых // Canadian-American Studies. 1933. V.27, №1/4. P.219.

ское по духу»¹. Вариант, увы, легендарный: едва ли Сима Лесохина, мать поэта, хоть раз слышала имя Израэля Зангвилья: его слова о «плавильном тигле» (т.е. слиянии наций) были хорошо известны в США, но не во Владивостоке. К тому же конечное «д» в «Зангвильде» проставлено еще в посвящении на харбинском сборнике отца, известно и по другим довоенным документам, — так что крестили младенца, видимо, как раз Иоанном. В тридцатые годы близкие звали его «Залик», но в документах он был уже зафиксирован как «Иван». От «Зангвильда» осталось за ним до конца жизни семейное прозвище «Заяц».

О детских годах поэта кое-что известно из немногих сохранившихся писем Венедикта Марта, кое-что — из елагинской поэмы «Память». В поэме более десятка эпизодов, и расставлены они отнюдь не по хронологии: сперва перед нами Киев (1938), потом Саратов (1929), затем Москва (1928). Далее — эпизод в Покровске (Энгельсе), точно не датированный, видимо, это 1929 или 1930 год. Следом — снова Саратов того же времени; кстати, этот эпизод (встреча с Ключевым) — единственный, вызывающий сомнения: судя по косвенным данным, встреча имела место не в Саратове, а в Ленинграде или в Москве. Затем в поэме — снова Подмосковье (1927); старожилы тех мест по сей день помнят «дачу с цветными стеклами» (иначе — «дачу Фофанова»). Далее точной датой обозначен Ленинград (1934), вновь Киев (1939) и снова Ленинград, август того же года, фотографически точно воспроизведенный эпизод с Ахматовой (о нем — ниже). Поэма заканчивается сорок первым годом, началом войны, бомбежкой Киева, когда поэту шел двадцать третий год.

«Заболев» поэзией Елагина в шестидесятые годы, я долгое время пытался найти хоть что-нибудь о его жизни в СССР до эмиграции. В семидесятые между мной и Елагиным завязалась переписка — поэт обрел достаточно веские доказательства, что моей рукой из Москвы «никто не водит» (его выражение), и грустно написал мне: «Весь архив моего отца увезли вместе с ним в 37 году. Если архивы сохранились, они для Вас более доступны, чем для меня. Мне было 5 лет, когда мы уехали из Китая, никаких ценных сведений я не могу дать». Письмо датировано 17 марта 1972 года². Когда шестью годами позже при работе в РГАЛИ (тогда ЦГАЛИ) мне попались четыре письма Венедикта Марта к художнику Петру Митуричу и его жене Вере (сестре Велимира Хлебникова) — три из Саратова, из ссылки, куда Федор Панферов отослал к отцу опознанного им в стайке беспризорников Зангвильда-Ивана, четвертое из Киева, где с 1934 года Венедикт Март по-

¹ Фесенко Татьяна. Сорок лет дружбы с Иваном Елагиным. Париж, 1991. С. 10.

² Все письма здесь и ниже цитируются по автографам.

селился окончательно, я кое-как сделал с них фотокопии и кое-как, без помощи почты, переслал Елагину в Питсбург. Он ответил (но дату на письме проставить забыл, на конверте — 28 мая 1978 года): «Очень, очень был счастлив, получив четыре письма отца. Это — как встреча через 50 лет!»

Позднее — уже слишком поздно для того, чтобы порадовать Елагина, которого к тому времени не было в живых, — в Государственном литературном музее в Москве отыскалось еще несколько писем Венедикта Марта к его старшему другу, И.А.Рязановскому; первые были присланы с Дальнего Востока, когда жена Венедикта, Сима, ждала ребенка (мальчика, умершего сразу после рождения; Зангвильд-Иван родился годом позже); последнее, длинное, исповедальное, пришло из Москвы в Кострому весной 1927 года и уже не застало адресата в живых. Грустные эти письма наверняка дождутся полной публикации, а пока приведу несколько строк от 1927 года, где Венедикт Март набросал свой автопортрет — футурист сознается, что, увы, не одной поэзией были заполнены прошедшие годы: «То я гремел на весь свой край, как поэт, выпуская книжку за книжкой. А то срывался — дальше некуда! Убегал от “жизни-пытки” — в китайские морфийные притоны, в таянчваны — курильни опиума... Чуть было вовсе не искурился». В том же письме — Венедикту Марту едва минуло тогда тридцать лет — он сообщал, что в Москве печатается «в тысяче и одном журнальчиках», однако стихов больше не пишет, публикует очерки, реже — рассказы «преимущественно дальневосточного характера». «Скоро этак разучусь вовсе писать стихами... Да и к тому же что-то тянет на прозу».

Тянуло Венедикта Марта, увы, не только на прозу. Его пьянки поражали воображение все выдавшей Москвы; чего стоит одна лишь история, пересказанная Елагиным, — о том, как отец и его друг поэт Аренс устроили на даче в Томилине выпивку *на сосне*: довольно высоко они привязались ремнями, а перед собой, ремнями же, укрепили ящик с водкой. Всю ночь в саду звенели бутылки... Добром такое, понятно, кончиться не могло.

Что же случилось в Москве в 1928 году, из-за чего Зангвильд-Иван попал в беспризорники, его мать — в психиатрическую больницу (из которой, кажется, уже не вышла), его отец — в ссылку в Саратов? Одну из версий читатель найдет в поэме, другая, мало от нее отличающаяся, есть в письме Марта к Митуричу. Он пишет, что, «находясь в невменяемом состоянии» (читай — в очень пьяном), выразился о ком-то «неудобным <...> образом». Похоже, и вправду имел место крупный мордобой, о котором рассказано в поэме. Март получил три года ссылки и, как показала история, тем самым обрек себя в скором будущем на новый арест и гибель.

Образ отца очень важен для всего творчества Ивана

Елагина. «Поэт седой и нищий» в «Звездах» — это Венедикт Март. «Человек под каштаном / С друзьями простился вчера. / На рассвете туманном / Уводили его со двора» — в позднем, очень важном для Елагина стихотворении «Худощавым подростком...» — это Венедикт Март. В стихотворении «Семейный архив» — возможно, инспирированном моей находкой писем к Митуричу, среди «воображаемого архива» —

За стеклами в морозилке
Хранится родитель мой.
Положен с пульей в затылке.
Дата — тридцать восьмой.

Кстати, «Семейный архив» требует двух поправок. Из Москвы Елагину «писали», и четыре письма в РГАЛИ тоже хранятся, — но никто его не «приглашал участвовать»: я там не работал, а свои собственные рукописи предпочитал хранить на Западе, у друзей.

Вторая поправка — трагическая. Речь о строке «Дата — тридцать восьмой». В знаменитом стихотворении «Амнистия» (около 1970) Елагин также писал: «Еще жив человек / Расстрелявший отца моего / Летом, в Киеве, в тридцать восьмом». Венедикт Март был арестован 12 июня 1937 года, после чего Иван остался в квартире с мачехой, Клавдией Ивановной, но 31 октября того же года арестовали и ее. Месяц за месяцем Иван ходил к тюремному окошку с передачей («Бельевое мыло / В шерстяном носке, / Банка мармелада, / Колбасы кусок, / С крепким самосадом / Был еще носок; / Старая ушанка, / Старый свитерок, / Чернослива банка, / Сухарей кулек» — так он сам описал ее в стихотворении «Передача»), но передачу не принимали, а вскоре следователь по фамилии Ласкавый объявил по телефону: «Японский шпионаж, десять лет со строгой изоляцией». Сын, понятно, обвинению не поверил, и того, что «десять лет со строгой изоляцией» — эффе-мизм расстрела, не знал; он продолжал ходить с передачами к тюрьме, хотя отца давно — между 12 и 15 июня 1937 года — расстреляли: в «расстрельном» списке этих дней киевского НКВД значится его имя. Иными словами, год ходил Ваня Матвеев с передачей к мертвому отцу.

То ли по закону больших чисел, то ли угодил следователь Ласкавый под колеса той большой машины, машинистом которой себя считал, но сам Иван Матвеев каким-то образом арестован не был. А вел себя Иван в те годы ох как неосторожно — прочтите хотя бы о «рабстве» в поэме «Память». А бывало и похуже. Вот что рассказал мне в письме от 8 июня 1989 года другой выдающийся поэт русского зарубежья, Николай Моршен (собственно — Николай Марченко: писателей «второй волны» без псевдонимов почти нет):

«С Ваней мы познакомились году в 38—39, но я много слышал о нем до знакомства от своего университетского друга: он кончал с Ваней десятилетку. Через недельку-другую после нашей первой встречи мы встретились в антракте на концерте певца Доливо (м.б., слышали?). И он сразу же мне сказал: “А я вчера стишок написал:

У меня матрас засален
От ночной поллюции.
Пусть живет товарищ Сталин,
Творец Конституции!”

Ни ему, ни мне не пришло в голову, что я ведь могу помчаться куда-нибудь с доносом. Потом мы встретились на улице занятого немцами Киева уже в 41 году. Я испугался за него, так как считал Залика (так его звали тогда) стопроцентным евреем (он фифти-фифти). Несколько раз заходил к нему в гости. Они с Люшей первое время очень бедовали. После войны он приезжал с юга Германии (один раз в 1947 — ? — году) ко мне в Гамбург (я жил там не в лагере ди-пи, а на частной квартире и работал на верфи “разнорабочим”, как теперь говорят). У меня на кухне он написал первые две строфы своего знаменитого “Уже последний пехотинец пал”. В США мы виделись только в 1982 году, когда я, совершая с женой поездку по стране на своем автодомике, заехал к нему в Питсбург и провел с ним вечер. Напомнил ему о встрече на концерте Доливо и сказал: “Прослушал я твое четверостишие, смотрю на тебя и думаю: кто стоит передо мной — дурак или провокатор? К счастью, оказалось — дурак!” Он с этой оценкой полностью согласился».

В 1995 году в Киеве тиражом 250 экземпляров вышла весьма неожиданная книжка: поэтесса Людмила Титова (1921—1993), в 1988 году узнавшая из «Огонька» и других журналов о судьбе своего довоенного возлюбленного, написала о нем воспоминания: бесхитростные, очень женские, спорные, неточные, — однако поэтесса была уже смертельно больна, а память, вечный наш благожелательный редактор, многое перекроила. Но о многом из довоенной жизни Елагина, помимо этих воспоминаний, узнать просто негде. Титова называет дату их знакомства — 1937 год. И вспоминает свой первый визит на Большую Житомирскую, 33, где жили Матвеевы — и отец, и сын, и вторая жена отца, — тогда еще никто не был арестован:

«Вошел отец Залика, пылливо посмотрел на меня. Церемонно поклонился. Я ответила тем же. Он был в пестром восточном халате и тюбетейке, что-то взял на подзеркальнике и вышел. Кажется, больше я его не видела. Много позже я узнала, что он тоже поэт <...>.

С отцом у Залика, по-видимому, были дружеские, сердечные отношения. Как-то я увидела шутливую записку Залика отцу, написанную по поводу того, что он не утерпел и “похитил” у него папиросу:

Поэт у зеркала справлял свой туалет,
А рядом нежная лежала папироса.
Соблазн был так велик — не выдержал поэт
И утащил красавицу без спроса.

Шутливостью прикрывалась глубокая нежность и привязанность друг к другу»¹.

«Звезды» Елагины были напечатаны в «Новом мире» — 1988 год, № 12, тираж журнала — 1 110 000 экземпляров, а до того они много раз печатались в эмиграции — иначе говоря, сотни тысяч читателей знают из этой поэмы о том, как происходил арест Венедикта Марта: «Рукописи, брошенные на пол...» Кое-что добавляют к этой картине слова из воспоминаний Титовой:

«Отец работал в свое время в Японии и Китае. Он хорошо знал японский и китайский языки. Писал стихи в форме хокку и тана (танки). Написал роман “Война и война”, который никто не печатал. Когда его забирали, он пошутил: “Вот наконец-то прочтут мой роман!” Взяли сундук, полный рукописей. Больше Венедикта Марта никто никогда не видел...»²

Этим строкам в воспоминаниях Титовой неизбежно приходится верить. Если собрать все опубликованное Венедиктом Мартом — полтора десятка тоненьких поэтических сборников, где добрая половина — переводы древнекитайских и древнеяпонских поэтов, прибавить распыленную по журналам прозу и повесть «Речные люди» (кстати, переведенную на несколько языков), присовокупить уцелевшие в чужих архивах письма и рукописи — выйдет совсем небольшая книжка. След, оставленный Венедиктом Мартом в творчестве его сына, оказался куда значительней.

Самого пристального внимания заслуживает и другой человек, решающим образом повлиявший на жизнь и творческое развитие молодого поэта.

Ольга Николаевна Штейнберг, по матери Орлова, родилась в Киеве в 1912 году. В начале тридцатых она вышла замуж и очень быстро с мужем разошлась (ничего, кроме имени Петр, о нем не известно). Фамилия отца звучала как еврейская, но была немецкой, и в дальнейшем это сыграло роль в судьбе Ивана и Ольги. С юных лет Ольга Штейнберг писала стихи (понятно, их никто не печатал), ставила под ними

¹ Титова Людмила. Мне казалось, мы будем жить на свете вечно... (Из воспоминаний об Иване Елагине). Стихи. Киев, 1995. С.8.

² Там же. С.22.

псевдоним «О. Анстей» — в разговоре это странное слово произносилось всегда с ударением на первом слоге. Лишь недавно удалось довольно правдоподобно объяснить происхождение псевдонима. В интеллигентном доме Штейнбергов и Орловых сохранилась большая, не разоренная годами революции библиотека, где были и Цветаева, и Ходасевич, и где, видимо, пользовалась любовью детей чудесная книга, написанная в традициях «Алисы в стране чудес»: V. Anstey. *Vice Versa*¹, — по-русски книга тоже выходила: Ф. Анстей. Шиворот-навыорот, или Урок отцам. Фантастический роман. СПб., 1907; о том, что псевдоним «Анстей» — английский, говорит ударение на первом слоге (см. в поэме «Память» — «В годы те была моей женой...»). Все иные объяснения этого псевдонима — что поэтесса взяла его «на звук», что «держала значение в тайне», что он «звучит по-гриновски» — пока неубедительны. Впрочем, последнее — хоть на что-то похоже: увлечение Грином, почти запретным в тридцатые годы, у киевской молодежи было огромно, доказательством тому многие стихотворения Елагина — гриновские герои сопровождали его всю жизнь.

Еще в 1932 году, когда в жизни Ольги Анстей и не маячил будущий Иван Елагин, несколько ее стихотворений попали через двоюродную сестру Андрея Белого Веру Жукову² к такому суровому критику, как Бенедикт Лившиц. Пересказ отзыва сохранился в письме Ольги Анстей в Москву, к подруге юности, Белле Казначей:

«Бен (т.е. Бенедикт Лившиц. — *Е.В.*) сказал, что я законченный зрелый поэт, уже сейчас на уровне Софьи Парнок. Что мне нечему учиться и что ему не к чему придраться, как ни искал. Удивлялся, как из меня выработался готовый поэт “в провинции, без поэтического руководства”. Что меня ждет поэтическая известность, благословил не печататься теперь, а писать для себя, для искусства, для будущего. Дал номер своего ленинградского телефона, чтобы я *сейчас же по приезде* (увы! когда?) позвонила ему: он поведет к Кузмину, к Ахматовой: против последней, однако, предостерегает: “она может заклевать молодое дарование”. Муленыш, я очень счастлива: это ведь первая похвала серьезного критика».

В конце 1937 года в доме Орловых—Штейнбергов все чаще стал бывать юный Зангвильд-Иван, и нужно привести еще одну цитату из письма Ольги Анстей тому же адресату (точной даты нет, видимо — декабрь 1937 г.), ибо документ

¹ Букв.: Наоборот (*лат.*).

² Вера Жукова (1881—1963), писала под псевдонимом «Вера Вертер», с 1915 по 1921 год была женой Бенедикта Лившица, ей посвящен сборник Лившица «Волчье солнце» (1914); в тридцатых годах жила в Киеве; у нее Лившиц останавливался во время кратких визитов в Киев.

всегда лучше «раскавыченного» пересказа:

«...подобралась, в большинстве своем, очень зеленая компания <...> и действительно бывало очень весело, потому что мы и чтения по ролям устраивали от Шекспира до Ибсена и гусевской “Славы”, и стихи на конкурс писали, и вроде рефератиков делали на разные темы. Главным образом радовался всему этому поэт — Зангвильд, удивительно талантливое и хорошее дитя. <...> Он стоит того, чтобы много о нем написать, и я когда-нибудь это сделаю. Он маленький, щупленький и черный, как галчонок, некрасивый, а когда стихи читает — глаза огромные сияют, рот у него большой и нежный, голос сухой, музыкальный, и читает он великолепно. Он так же сумасшедше, сомнамбулически живет стихами, как и я, я читаю свои стихи, он — свои, потом он мои на память, а потом мы оба взапуски, захлеб, — кто во что горазд — всех поэтов от Жуковского до Ходасевича и Пастернака, и он это не попусту, а с толком, с большим пониманием. Он маме совсем в душу влез, этот галчонок, а это ведь не так легко. И вот был у нас траур и плач на реках вавилонских, когда тяжело заболел наш поэт — воспаление легких с плевритом, а он и так слабый, заморыш. Материальное положение у него скверное, поэтому ценители таланта носили ему не только апельсины, а еще масло и яйца. Вот вчера он в первый раз вышел и был у нас — ослабевший, задыхается от ходьбы, “плохонький какой”, как говорит Царь-Девица. Очень страшно, чтобы теперь не вспыхнул туберкулез».

Такими словами Ольга Анстей описала своего будущего мужа. А в два часа ночи 17 июня 1938 года Иван и Ольга тайно обвенчались в церкви. Венчал их священник А.А.Глаголев, сын известного в Киеве священника, венчавшего в свое время Михаила Булгакова, а один из венцов при венчании держал десятилетний мальчик — Борис Борисович Ремизов, внук писателя Алексея Ремизова; память Бориса Борисовича многое для нас сберегла о жизни молодой четы Матвеевых в предвоенном Киеве и во время оккупации.

Сама Ольга Анстей в эти годы писала немного, в 1939 году в письме к Белле Казначей признавалась: «Детонька, за последние 2 года ведь очень мало стихов! В невыносимое это время 37 г. я почти не писала». Зато непрерывно писал Иван: многое из стихотворений тех лет попало в первые книги Елагина, вышедшие после войны в Германии. У супругов была настоящая творческая близость. Много лет спустя Ольга Анстей вспоминала — в письме из Нью-Йорка в Москву к Надежде Мальцевой (от 17 апреля 1978 г.):

«Да, у нас забавная совместная творческая биография. Помните “Октавы” (“Парк лихорадил”)? Писал он их в молодости нашей, в Киеве перед войной. И написал уже несколько октав срединных (чудесных), а начало никак не выходило.

Он ходил и канючил: — Я не могу начать! Не знаю, как начать!

Ходил по комнате (комната-то одна) и мычал: У-у-у... У-у-у... Наконец мне это уже в печенках село, и я говорю: — Ладно, пес с тобой, я тебе напишу начало. Села и с маху написала:

Парк лихорадил. Кашляли, ощерясь,
Сухие липы...

И то был толчок, и дальше его уж понесло: “Ветер, озверев...”».

Выйдя замуж, Ольга взяла фамилию мужа. Иван учился во Втором киевском медицинском институте, Ольга служила в банке и подрабатывала переводами с английского и машинописью. Оба писали стихи, не печатались, но печататься хотели. И уж во всяком случае хотели показать свои стихи «старшим» поэтам. Ни Кузмина, ни Бенедикта Лившица уже не было в живых, а идея пойти к Ахматовой Ивана не оставляла. Об августовской поездке в Ленинград у Елагина есть сюжет в поэме «Память», а в двух письмах к Белле Казначей Ольга Матвеева эту историю рассказала подробно. Первое письмо без даты, но определяется как конец августа 1939 года:

«Заяц сидит в Ленинграде. Анна Андреевна его *выгнала*, как он пишет. Пишет: “выгнала, а все-таки дважды поцеловал руку!” и в конце прибавляет: “Могу писать мемуары, как меня выгнала великая русская поэтесса!”»

В поэме «Память» такие мемуары Елагин как раз и написал. Подробнее история рассказана в письме к тому же адресату от 26 октября 1939 года (Иван из Ленинграда давно вернулся, начались занятия в институте): «Выгон Зайца был очень краток. Она объявила ему, что сына ее высылают, и у нее должно быть последнее свидание, и вообще она никаких стихов слушать не может, она совершенно не чувствует в себе способности руководить молодыми дарованиями, и вообще “не ходите ко мне, забудьте мой адрес и никого ко мне не посылайте. *Это не принесет радости ни мне, ни вам*” <...> А еще получилась пикантность: когда Заяц стал распространяться, что она нам, дескать, потому так близка, что не печатается и т.д., она и говорит: “Вы ошибаетесь! Мои последние стихи скоро появятся в...” — и назвала журнал. Заяц, конечно, забыл, какой именно. Живая картина!!! Бека, ты не натолкнулась на эти стихи? “Поспросай” кого-нибудь, и если, солнышко, ты нападешь на этот журнал, умоляю выписать мне стихи! Ведь очень интересно, что там Анна Андреевна навараксала¹.

Жаль, что ты не слышала рассказа самого Ивана. Он особенно, каким-то глухим сомнамбулическим голосом рас-

¹ Что имеется в виду — сказать трудно: вскоре стихи Ахматовой появились в журналах «Ленинград» (1940. №2) и «Звезда» (1940. №3/4).

сказывает это происшествие. Говорит, что *очень красива*, необыкновенно прямо держится, челки уже не носит. Рука (которую он успел-таки два раза поцеловать) — красивая, но “пухленькая”. Это сюрприз. Одета она была в шелковое трикотажное, но совершенно драное, разлезшееся платье, длинное, темное. Последние слова знаменитой русской поэтессы — по телефону (когда Иван уже выходил): “Таня сейчас придет, она понесла примус в починку...”¹

Над диваном у нее висит портрет девушки в белом платье². Заяц только на обратном пути догадался, что это — она в юности. Да, впрочем, вот его стихи, на днях написанные:

Я никогда не верил,
Что к Вам приведут пути.
Но Вы отворили двери,
К Вам можно было войти.

Даже казался странным
В комнате Вашей свет
И над простым диваном
Девушки в белом портрет.

Но Вам в тяжелых заботах
Не до поэтов — увы!
Я понял уже в воротах,
Что девушка в белом — Вы.

И, подавляя муку,
Глядя в речной провал,
Был счастлив, что Вашу руку
Дважды поцеловал»³.

¹ Таня — Т.Смирнова; соседка Ахматовой по коммунальной квартире. Хотя в эти дни Ахматова действительно была озабочена судьбой арестованного сына, очень возможно, что она стремилась выгнать молодого поэта еще и потому, что Тани не было дома. «А.А. подозревала, что Тане Смирновой поручено за нею следить, и обнаружила какие-то признаки этой слежки». — Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. М.: Согласие, 1997. Т.1: 1938—1941. С.135.

² Имеется в виду портрет работы А.А.Осмеркина, законченный в июне 1939 года, известный под названием «Белая ночь» (Ахматова на фоне окна) — ныне находится в Государственном литературном музее в Москве.

³ Ахматова вовсе не стремилась в те годы полностью отказаться от общения с поэтической молодежью. В «Ташкентских тетрадах» Л.К.Чуковской есть запись от 1.IV.1942: «У двери я услышала чтение стихов — мужской голос — и подождала немного. Оказалось, что это читает Саша Гинзбург, актер, поэт и музыкант <...> Стихи “способные”. На грани между Уткинско-Луговской линией, Багрицким и какой-то собственной лирической волной <...> Послушав мальчика, она выгнала нас <...> и стала читать ему поэму» (Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. Т.1. С.422—423). Иначе говоря, Ахматова читала стихи будущему Александру Галичу, почти ровеснику Елагина, тоже в конце жизни эмигранту.

Последние две строфы этого стихотворения позже вошли в поэму «Память».

Хотя Ивана и не печатали, но в прямом смысле «никому не ведом» он не был: им гордились друзья и соученики, он носил стихи к жившему в Киеве и весьма знаменитому Николаю Ушакову, а к Максиму Рыльскому, платившему за обучение Ивана в институте, супруги чай пить ходили регулярно. В относящемся примерно к середине 1940 года письме Ольги Анстей в Москву к Белле Казначей одно из таких чаепитий описано подробно, рассказ заканчивается так: «Прощался совсем трогательно: меня поцеловал в подбородок, а Зайца — так совсем в умилении прижал к груди и лобызал, как Державин. Про мои стихи сказал “что же делать”, большинство “непечатные”. А у Зайца все-таки более печатные. Взял некоторые Зайцевы стихи и хочет послать Антокольскому».

Обращаю внимание читателей на то, что в это время Рыльскому было всего сорок пять лет. Но он был поэт «государственный», и, не начнись война, он бы не так, так эдак, через собственные переводы, через Антокольского или как-то иначе Ваню Матвеева в «советскую литературу» вывел. Быть может, через переводы вывел бы и Ольгу Матвееву-Анстей — в ее «оригинальном жанре» это было почти невозможно: Ольга была и в жизни, и в поэзии человеком глубоко верующим и церковным. Незадолго до войны она писала в Баку поэтессе Татьяне Сырышевой: «Искусство для меня, естественно и органически, сплетается с религией, без которой я тоже не дышу, “с ощущением миров иных”. Иными словами, искусство и вера — обе эти “категории” — поднимают меня *над* физической смертью и соприкасают с миром *ирреальности* — то есть единственной подлинной реальности».

С подобным мировоззрением в советской литературе рассчитывать было не на что. Впрочем, сохранились переводческие опыты Ольги Анстей (из Верлена, с французского... на украинский!). А Иван даже — напомним — успел в качестве переводчика Рыльского напечататься в «Советской Украине».

И вот пришло лето 1941-го. Елагин написал много о тех днях, когда «летели на город голодные бомбы». Видимо, тогда и началась окончательно его «взрослая» жизнь «во времени, а не в пространстве».

Ни Людмила Титова, ни Татьяна Фесенко, бывшие свидетельницами оккупации Киева и оставившие каждая по книге воспоминаний о Елагине, ни один из друзей Елагина, кого я запрашивал письмами, — никто не смог мне дать окончательный ответ: как так вышло, что Матвеевы не эвакуировались, а остались в Киеве и «оказались под немцами». Наверняка — не нарочно, не потому, что не верили советской пропаганде и считали сообщения о немецком истреблении

евреев очередной ложью ТАСС. Иван, недоучившийся врач из Второго медицинского, работал на «скорой помощи», вывозил раненых из пригородов в больницы и едва ли заметил мгновение, когда Киев перестал быть советским. О том, что было дальше, рассказано в книге Титовой:

«После того, как отгремели страшные взрывы, после Бабьего Яра, в первую зиму немцы открыли два вуза — медицинский институт и консерваторию. Учеба там спасала от Германии. Залик стал посещать занятия в медицинском и дежурить в больнице. Кажется, в акушерском отделении. Кончались занятия в мединституте или дежурства в больнице — и Залик забегал ко мне. Повторял:

— Люди теперь не рожают. Если проскочит какой-нибудь случайный ребенок, и то хорошо!»¹

Киевский поэт Риталий Заславский в послесловии к книге Титовой пишет: «Наум Коржавин рассказывал мне, что Елагин в эмиграции не раз расспрашивал его о Людмиле Титовой»². Но едва ли что-нибудь разузнал. До девяностых годов молчала она о своей довоенной любви. Уже побывала в Москве вдова Елагина, Ирина Ивановна, и подписала договор на издание однотомника поэта в «Художественной литературе»³, и наговорил на диктофон свои воспоминания последний из оставшихся в живых младший брат Венедикта Марта, Георгий Матвеев, живший тогда под Москвой в Новоподрезкове, и припомнила Новелла Матвеева рассказ отца (Н.Н.Матвеева-Бодрого) о том, как детишки двадцатых годов играли с маленьким Заликом в чудесную советскую игру «погром», хотели его, как еврея, топить, он соглашался, но требовал, чтобы его, как полуеврея, топили тоже только по пояс; уже счет советских и постсоветских публикаций Елагина в Москве, Ленинграде, Владивостоке, Киеве, даже в Воронеже пошел на многие десятки, но Людмила Титова, навсегда перепуганная и советской, и немецкой властью, знать о себе не давала. Свою жизнь она прожила, как хотела — в тени.

Иван Елагин такой судьбы не захотел.

«Они с Люшей первое время очень бедовали...» — пишет Моршен.

«Бедовали» — слово, которое еще и не во всяком словаре отыщешь. А что именно означало оно в данном случае — того нет вовсе ни в каком словаре. Оставаясь верными принципу точного цитирования, обратимся к воспоминаниям Татьяны Фесенко об Ольге Анстей:

«Вода, принесенная в ведре издалека, к утру покрывается в нашей комнате ледяной корочкой. Нет отопления, нет

¹ Титова Людмила. Мне казалось, мы будем жить на свете вечно... С.37—38.

² Там же. С.49.

³ Книга дошла до сверки, но, к счастью, света не увидела: на сегодняшний день она устарела, слишком многие «тайные» факты стали «явными».

электричества, нет даже базаров, которые немцы нещадно разгоняют в эту страшную первую зиму оккупации Киева, когда лютый мороз заставляет завоевателей ходить по домам поредевших киевских жителей и забирать у них свитеры, шарфы и даже дамские кофточки. Вечером по тротуарам стучат только подкованные немецкие сапоги — киевлянам выходить из дома запрещено — комендантский час»¹.

Но жизнь теплилась, никто даже не настучал немцам про неарийское происхождение Ивана, да и не до того было замерзшим оккупантам: по пресловутым нюрнбергским законам он был бы зачислен не в евреи, а в «мишлинги» (полукровки), немедленной депортации не подлежал — это г-н Эйхман и его соратники откладывали на будущее, считали делом «второй срочности», даже в Берлине выжили целые кварталы полукровок, к примеру ученица Гумилева, русская поэтесса Вера Лурье. А молодежь в голодном и холодном Киеве в годы оккупации — странно писать об этом, но было так — жила искусством. Собирались молодые поэты и художники, их мужья и жены: Татьяна и Андрей Фесенко, Ольга и Иван Матвеевы, Николай Марченко, а также художник и поэт Сергей Бонгарт, — все они впоследствии эмигрировали в США, и дружба их сохранилась до конца жизни. Картины Бонгарта висели на стенах дома Елагина в Питсбурге, с Бонгартом Елагин пил пиво в Санта-Монике, поглядывая через Тихий океан в сторону родного Владивостока, Бонгарту посвятил одно из самых пронзительных своих «поминальных» стихотворений.

О «культурной жизни» русских и украинцев в оккупированном немцами Киеве кто-то и когда-то напишет книги. Она была, эта культурная жизнь, как была и раньше, при советской власти — но *вопреки* любой власти.

В своих воспоминаниях Титова замечает, что псевдоним Ивана — Елагин — был заготовлен еще до войны, по строке из Блока —

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня...

Люди, говорившие о происхождении псевдонима с самим Елагиным, свидетельствуют по-разному: то ли поэт имел в виду Елагин остров в Петербурге, то ли кивал на гравюру, висевшую у него на стене в кабинете, — изображен на гравюре был опять-таки Елагин мост, а кому-то примерещился даже поэт-масон конца XVIII века Иван Перфильевич Елагин. Ясно одно: использовать этот псевдоним Иван Матвеев стал во время войны. В первые месяцы 1943 года сочини-

¹ Фесенко Т. Ольга Николаевна Анстей // Новый журнал (Нью-Йорк). 1985. №161. С.128.

ли Иван и Ольга совместный поэтический сборник, печатали на машинке, обозначили на обороте титульного листа: тираж — «в количестве одного экземпляра, из коих 1 нумерованный», а на обложке поставили — Ольга Анстей и Иван Елагин. Сборник по сей день сохранился в США.

Красная Армия перешла в наступление. Немцы готовились к сдаче Киева. Попадись Иван Матвеев в руки НКВД, ему предъявили бы всего одно обвинение — сотрудничество с оккупантами. И возразить было бы нечего: работал при немцах в роддоме — значит, сотрудничал. И не понадобилось бы обвинению вспоминать расстрелянного отца, эмигрировавшего деда, многочисленных дядьев и теток, частью расстрелянных (историк Зотик Матвеев), частью эмигрировавших.

Уцелев после всех арестов близких, после того, что выпало на его собственную долю, Иван Елагин понимал, что полоса везения рано или поздно кончится. А Ольга к тому же ждала ребенка. В Праге у нее еще со времен «первой волны» эмиграции жила сестра. На востоке семью ждала только гибель. На западе — неизвестно что. Выбор небогатый.

В начале осени 1943 года Матвеевы всеми правдами и неправдами погрузились в «поезд, крадущийся воров», — это из написанных после войны «Звезд», где путешествие «на запад» описано лучше любого документального отчета, — и поехали. Куда-то на Запад. Куда-то. Тогда никто не знал — куда придет поезд. Лишь бы не сидеть на месте, лишь бы двигаться.

8 октября 1943 года, по дороге в Лодзь, Ольга родила дочку. Назвали Инной. 11 января 1944 года в Алленштайне, нынешнем польском Ольштыне, Инна умерла. Об этом — стихотворение Елагина «Так ненужно, нелепо, случайно...», посвященное памяти дочери. Дальше опять долгая, бестолковая череда: поезда, станции, даты. Среди них — важная: 8 января 1945 года в Берлине, чуть ли не во время бомбежки, родилась у Матвеевых вторая дочь, Елена, там же была она 2 февраля крещена.

И вот, наконец, салют Победы. Он застал Матвеевых неподалеку от Мюнхена, в казарме для «перемещенных лиц», в здании, с которого еще не скоро сбили старую надпись «Казармы СС». В комнатке, отгороженной от общего барака серыми одеялами, началась для Матвеевых послевоенная жизнь.

Следующие пять лет документированному описанию лучше не подвергать — самое достоверное читатель может найти в «Беженской поэме» Елагина да еще отчасти в беллетризованных мемуарах замечательной писательницы Ирины Сабуровой «О нас» (Мюнхен, 1972), где Елагин появляется мельком, на литературном вечере, притом под собственной фамилией (точнее — под уже приросшим к нему псевдони-

мом), в то время как почти всем иным героям романа даны прозвища: Елагин читает целиком свою жутковатую «Кама-ринскую» — там же она и процитирована. Дорога в Россию была для «перемещенных лиц» наглухо закрыта, все отлично знали, что Отец Народов решительно всех возвращенных ему союзниками бывших советских граждан считает дважды и трижды изменниками, «полицаями», которых нужно вешать, а если веревок не хватит — то стрелять, а если пуль не хватит — то всем хватит места на Колыме, где двадцать пять лет «репатрианты» будут вести для Родины (с большой буквы) добычу драгметаллов. В 1945—1946 годах в Германии, в зонах, занятых союзниками, царило безумие: генералы Рузвельта и Черчилля выдавали войскам НКВД всех, кто вовремя не спрятался от этих «выдач». Но безумие союзников было избирательным: например, они не признавали советской аннексии прибалтийских стран, и тот, кто мог доказать, что до 1 сентября 1939 года жил в Литве, Латвии или Эстонии, выдаче теоретически не подлежал. Не подлежали выдаче все эмигранты «первой волны» — отсюда слова Елагина:

Вру, что жил я в Сербии
До тридцать девятого.

Серая-серая, ветхая послевоенная бумага как нельзя лучше подходила для проставления на ней печатей, вырезанных из сырой картошки:

Девушка учтивая,
Перышком поскрипывай
И печать фальшивую
Ставь на справке липовой!

Между тем повальные «выдачи» в 1946 году сменились спорадическими, а потом и вовсе прекратились: очухавшаяся от послевоенного похмелья Западная Европа отгородилась от коммунизма железным занавесом. Нужно было куда-то уезжать, но почти никуда не пускали: ни в Аргентину, ни в Австралию, — углекопы и эвкалипторубы, конечно, требовались, но в куда меньшем количестве, чем было желающих убежать куда-нибудь подальше. Тем временем в лагерях «ди-пи» стало налаживаться свободное книгоиздание — то, чего «ди-пи» были начисто лишены в СССР. Вячеслав Завалишин (1915—1995) выпустил в свет ни много ни мало — собрание сочинений Николая Гумилева; те единичные экземпляры этого издания, что сохранились до наших дней, боязно брать в руки: бумага рассыпается в пыль. Большинство книг «тиснуто» вручную. «Дипилогическая азбука» Ирины

Сабуровой — настоящий памятник эпохи — автором была отпечатана, автором и продавалась, экземпляр стоил пачку сигарет. Сабурова переиздала в 1972 году «Азбуку» в упомянутой мемуарной книге, но кое-что в ней существенно подредактировала, потому процитирую из нее отрывки по чудом попавшему ко мне оригиналу 1946 года. На книге нет ни штампа цензуры союзников, ни выходных данных: перед нами настоящий дипийский самиздат.

«Е — ехать. Некуда (пока что).

Ж — жизнь. Предмет, о котором заботятся, пока его имеют (в отличие от денег). Жизни у ди-пи нету.

З — занятия. Занимают друг у друга небольшие суммы в долг без отдачи (большие получить труднее). В современном масштабе занимаются целые страны. Чей это долг — неизвестно, а насчет отдачи поется в одной персидской песне: “От границ до Тегерана три дня пути, а от Тегерана до границы гораздо больше...” <...>

М-м-м-м — отвечает ди-пи на вопрос комиссии, кто он такой. “Я, собственно говоря, югослав, но родился в Литве, проживал до 38-го года в Румынии, а по национальности и религии — штатенлос, польский подданный. Из иностранных языков, кроме русского, разумею украинский”. Комиссия обычно мало вразумляется. Настоящих людей нету.

Н — нет документов. Никаких. Одна из наиболее характерных особенностей племени ди-пи. <...>

Р — Родина. Над утратой ее пролито немало горьких слез, но дипилогическое объявление о потере гласит так: “Потеряна горячо любимая родина. Умоляем не возвращать”¹.

А в «казармах СС» под Мюнхеном шла своя жизнь. Татьяна Фесенко, жившая там вместе с другими «ди-пи», рассказывает о том, как однажды ей повезло — устроилась переводчицей и секретарем при директрисе лагерей «ди-пи» всего мюнхенского района:

«С этой радостной вестью я и спешу к моим близким, ждущим меня в одной из крошечных клетушек, на которые при помощи шкафов и немецких армейских одеял разделены просторные помещения казармы. Шутники, давая свой адрес, говорят примерно так:

— Стучите три раза подряд в четвертое одеяло справа...

<...> В одном из углов между шкафом и одеялом уже расположилась семья Матвеевых. О радости встречи говорить не приходится. И Люша, и Ваня, и Ольга Николаевна “Старшая” — Люшина мать, были в январе 1947 года такими

¹ Сабурова Ирина. Дипилогическая азбука. Мюнхен, 1946. С.8—10.

же интересными и живыми людьми, хотя на их лицах читалась печать безмерной усталости»¹.

Забегая вперед, скажу, что вскоре состав семьи Матвеевых изменился. Ольга Николаевна «Старшая», урожденная Орлова, умерла 16 августа 1948 года. А Ольга Николаевна «Младшая», т.е. Ольга Анстей, ушла от Ивана Елагина к другому человеку, эмигранту «первой волны» (в самом деле «жившему в Сербии до тридцать девятого») князю Николаю Кудашеву (1903—1979). До переезда в США летом 1950 года Матвеевы не разводились и, пожалуй, остались друзьями, но семья распалась.

Но нужно вернуться к главному, без чего не было бы предмета для разговора, не было бы нынешнего Собрания сочинений, — к стихам Ивана Елагина. В «казармах СС» жило множество поэтов, и не только из бывшего СССР, сюда попадали прибывшие ко «второй волне» беженцы из Восточной Европы русские поэты — Нонна Белавина, Ирина Сабурова, Борис Нарциссов; здесь Елагин обрел друзей, ставших ему навсегда самыми близкими, — не считая перечисленных выше, это были прозаик Леонид Ржевский (Суражевский) и художник Сергей Голлербах. Последний сам пишет о том, как познакомился с Елагиным в беженском лагере под Мюнхеном в 1946 году (на почве общей беды — недостатка курева): «Я был тогда студентом мюнхенской Академии Художеств, то есть незрелым полухудожником, на несколько лет моложе Ивана, в то время как он был молодым, но вполне сложившимся поэтом»². Мнение молодого Голлербаха разделяли тогда и младшие, и старшие «ди-пи», да и представителям первой эмиграции Елагин чаще все-таки нравился. В Германии, позднее во Франции тех лет возникло множество периодических изданий, где русский поэт мог печататься: «Грани», «Отдых», «Обозрение», «Дело», «Возрождение». В 1947 году собрались «дипийские» и судьбой примкнувшие к ним поэты, сложили коллективный сборник под сто страниц. Сергей Бонгарт нарисовал обложку. Сборнику дали немудрящее название «Стихи» и выпустили его в Мюнхене. Среди поэтов — все те же имена: Ольга Анстей, Иван Елагин, Сергей Бонгарт, кн. Николай Кудашев... Наконец, собравшись со старыми стихами, добавив новых, в том же 1947 году Иван Елагин издал в Мюнхене свою первую поэтическую книгу — «По дороге оттуда». Шестьдесят два стихотворения. Годом позже выпустил еще одну — «Ты, мое столетие!» Двадцать семь стихотворений.

Уже эти первые книги со всей очевидностью показали, что Елагин — плоть от плоти военного поколения, «поколе-

¹ Фесенко Татьяна. Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным. С. 23—24.

² Голлербах Сергей. Восприятие художника // Canadian-American Studies. 1933. V.27, №14. P.245.

ния обреченных», чьи кумиры — Блок, Цветаева, Пастернак, Ахматова (любимых поэтов Елагин перечислил в позднем стихотворении «У вод Мононгахилы»). Добавить в число названных разве что Зошенко — и получим... перечень тех, кому посвящены «Литераторские мостки» Александра Галича. Елагин по ту сторону железного занавеса жил теми же вечными ценностями, что его сверстники — по эту. И совсем не случайно старый петербуржец Владимир Вейдле бурчливо писал: «...Елагин, знаю из какого он гнезда — не очень любимого мной, “чуждого”...»¹ — то есть из хаемого в эмиграции «гнезда советской поэзии», гнезда маяковско-пастернаковского. Кстати, на посмертном вечере Елагина в 1989 году в Москве, в ЦДЛ, прозвучало: «Это лучший советский поэт!» И слова эти были сказаны вовсе не в обиду Елагину — в отличие от Вейдле, который вполне сознательно Елагина хотел обидеть.

Хочется того кому-то или нет, а признать придется: Елагин — поэт, порожденный советской культурой и действительностью. Но только и Галич тоже. И, уж конечно, Слуцкий. О более молодых не говорю: те-то точно советские (или антисоветские, что одно и то же).

НЕ-СОВЕТСКИМ поэтом Елагин стал лишь в семидесятые годы. Тогда он стал просто самим собой.

Елагина все же больше хвалили, в глаза и за глаза, и не всегда по-умному — настолько не по-умному, что Георгий Иванов в статье «Поэзия и поэты», опубликованной в парижском «Возрождении» (1950, № 10), счел необходимым критиков-дифирамбистов одернуть:

«Число эмигрантских поэтов, кстати, несмотря на ряд потерь, за последние годы увеличилось: выбывших из строя заменило новое “поколение”, главным образом из среды “ди-пи”».

Среди последних есть немало одаренных людей. Двое из них — Д.Кленовский и И.Елагин — быстро и по заслугам завоевали себе в эмиграции имя.

<...> И.Елагин <...> ярко выраженный человек советской формации. Елагин, возможно, талантливей Кленовского. Он находчив, боек, размашист, его стихи пересыпаны блестками удачных находок. Но все опубликованное им до сих пор так же талантливо, как поверхностно, почти всегда очень ловко, но и неизменно неглубоко. Каждая строчка Кленовского — доказательство его “благородного происхождения”. Его генеалогическое древо то же, что у Гумилева, Анненкова (видимо, опечатка, следовало — Анненского. — Е.В.), Ахматовой и О.Мандельштама. И.Елагин — в противоположность Кленовскому — один из “не помнящих родст-

¹ Вейдле В. Двое других // Новое Русское Слово. 1973. 28 октября.

ва”, для которых традиция русской поэзии началась с “Пролеткультом” и Маяковским. Вероятно, Елагин читал и, возможно, по-своему любил тех поэтов, от которых как “законный потомок” ведет свою родословную Кленовский. Но на его творчестве пока это не отразилось»¹.

Далее, сочувственно отозвавшись еще о нескольких поэтах, и в частности об Анатолии Штейгере, Г.Иванов вновь вернулся к Елагину:

«Выше я отметил несомненный талант И.Елагина. Штейгер был, конечно, много менее Елагина одарен. Но “реальная ценность” стихов Штейгера все-таки несравненно выше. Штейгер создал законченные произведения искусства, “то, что сотворено и не подлежит изменению”. Стихи же Елагина, при всем их внешнем блеске, покуда всего лишь вексель, правда, размашисто выписанный на крупную сумму...»²

Критик весьма тонкий, Г.Иванов между делом сообщил читателю, что Елагин талантливей чуть ли не всех «новых», но глупо хвалить одного поэта в ущерб всем другим, — а такая тенденция в эмигрантской критике конца сороковых была. Между тем Г.Иванов, поименовав елагинские стихи «векселем на крупную сумму», в 1955 году писал о нем в частном письме Роману Гулю: «...все-таки очень хорошо. Таланту в нем много»³.

Но вернемся в Германию конца сороковых годов, где все еще неразведенные бывшие супруги Матвеевы дожидались визы на въезд в США. Вновь предоставим слово свидетельнице тех лет — Татьяне Фесенко:

«В 1949 году, опять-таки в Мюнхене, была напечатана наименее известная, но, пожалуй, по своему возникновению самая удивительная из всех книг Ивана Елагина. Эта недооцененная и критиками, и самим автором веселая и остроумная комедия-шутка “Портрет мадмуазель Таржи” писалась в страшное время — в период насильной репатриации, которая грозила всем “ди-пи” — бывшим советским гражданам <...>.

По лагерям поползли зловещие слухи, люди с ужасом ожидали прохождения комиссий, и вот именно тогда зазвучали задорные и забавные строки Елагина, вызывавшие улыбку на хмурых лицах, а позже послужившие доказательством разностороннего таланта их автора, давая ключ к пониманию его характера. В своеобразном варианте “разговора у театрального подъезда”, изданного на правах рукописи, напечатанного на отдельном листке, вложенном, согласно моему опыту, только в экземпляры комедии, подаренные друзьям, Елагин, обращаясь к заокеанскому “залетному гостю”, говорит:

¹ Иванов Георгий. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т.3. С.583–584.

² Там же. С.585.

³ Там же. С.711.

Вам жути хочется, а мне все время жутко,
Меня от гибели спасала только шутка.
И как голодного не понимает сытый,
Так не понять и вам, что смех нам был защитой»¹.

Надо сказать, что пьесой всерьез заинтересовались лишь после смерти Елагина, — однако раньше, чем были опубликованы процитированные выше строки Татьяны Фесенко. Выходивший в Москве журнал «Современная драматургия» (1990, № 3) с разрешения вдовы поэта — Ирины Ивановны Матвеевой перепечатал пьесу целиком; к публикации была приложена моя довольно большая статья о драматургии Елагина. Позднее Роман Виктюк снял по пьесе телевизионный фильм, который цензура довольно долго не пропускала на экран; лишь после кончины СССР 30 декабря 1991 года состоялась телепреьера, и с тех пор пьесу, ставшую фильмом, видели миллионы зрителей. Внимательный читатель увидит, насколько целостно связана эта единственная елагинская пьеса с его же поэтическим творчеством. Мир елагинской поэзии сам по себе предельно театрализован, тема сцены появляется в десятках стихотворений, а маленькая поэма «Нечто вроде сценария» полностью соответствует своему заглавию:

Так просто — декорации все снять,
И в черных сукнах ночи я опять.

Быть может, в русской поэзии нашего века вообще нет второго мастера, чей мир до такой степени был бы «размещен» на сцене. В 1978 году Елагин прислал мне в виде автографа свои «последние стихи» — это было нынче ставшее почти хрестоматийным стихотворение о Гамлете — «Вверху хрусталем и хромом...» Быть может, это вообще одно из лучших русских стихотворений о театре. И Шекспир появился тут не красного словца ради, мир по Елагину — театр сам по себе.

Есть тому подтверждения и в оставленных Елагиным интервью, и в письмах. В ноябре 1977 года он писал мне: «Вообще мне близок человек на фоне современности. Я, прочтя стихи, должен чувствовать эпоху, когда они написаны. Если человек пытается писать “вне времени”, то он для меня и “вне вечности”». Здесь важна не только стержневая идея творчества, выстроенного Елагиным «во времени, а не в пространстве», — важны слова «на фоне». Проще говоря, по Елагину, прежде, чем сочинять, нужно расставить декорации.

¹ Фесенко Татьяна. Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным. С.23–33.

Что же за декорации в «Портрете мадмуазель Таржи»? Явно — Париж, он попросту назван в тексте. На дворе то ли 1890 год, то ли 1930-й — тут уж читатель или зритель волен сам домысливать, но обязан помнить: время тут возможно не любое, а такое, когда нет войны, нет голода. Притом вероятней из двух предложенных дат вторая, на нее указывает двухсоттысячный тираж газеты, в которой появляется «роковая» статья одного из героев (Жака), приводящая в финале пьесы к общему ликованию и двум свадьбам. А вот на дату написания (конец голодных сороковых) указывает в пьесе скупость средств, коими постановка ее может быть осуществлена. Всех-то декораций: мансарда для первых двух актов, комната домовладельца — для третьего. Актёров нужно пять: на роль героя-любовника Клода; на роль его романтической невесты; далее, по законам жанра, следует пара комическая: журналист Жак и его возлюбленная Фантин; ну, и сам г-н Таржи.

Кстати, Фантин в первом акте щеголяет в калошах на босу ногу, ревет в полный голос с первой секунды своего появления до конца акта, — а во втором акте она появляется с пальто, сплошь изукрашенным фиалками. Эти фиалки — настоящая подпись мастера в уголке картины. Перед нами *римейк*, проще говоря, переделка, «вторичный подход к теме» — перед нами созданная русским поэтом в Германии, в лагере «ди-пи»... «Фиалка Монмартра», версия прославленной оперетты Имре Кальмана. Ничто не случайно: когда весной 1948 года президент Трумэн подписал закон о «ди-пи» и начался широкий въезд перемещенных лиц в США, а сами «перемещенные лица» ждали «у моря погоды», т.е. визы, сочиняя *римейк* уже вошедшей в классику жанра оперетты, Елагин попросту заполнял время ожидания. Душе поэта, понятно, хотелось куда-нибудь в довоенный (сколько раз в истории это слово меняло значение, сколько раз было символом чего-то хорошего, чего-то ушедшего) Париж.

«Меня от гибели спасала только шутка...»

Попыток поставить «Портрет мадмуазель Таржи» ранее, чем это сделал на советском телевидении Роман Виктюк, не было. В наше Собрание сочинений пьеса включена после долгих сомнений, обуревавших не составителя, но вдову Ивана Венедиктовича: не повредит ли эта буффонада сложившейся репутации Елагина как серьезного поэта? Решили: не повредит — хотя бы потому, что пьеса уже попала на телеэкран. К тому же «веселый» жанр, существовавший в творчестве Елагина параллельно с серьезным, в нынешнем Собрании сочинений практически не представлен, и «Портрет мадмуазель Таржи» — некоторая тому компенсация. Тем более, что отдельное издание пьесы в 1949 году было вообще одним из последних «дипийских» изданий. По свидетельству отпечатавшего «Портрет мадмуазель Таржи» Ю.Сречинско-

го, книга нигде не продавалась. Да и кто бы стал покупать? Свою часть тиража Елагин хранил оригинально: подложил вместо четвертой ножки под собственный колченогий диван. В США с его багажом переехали не все экземпляры — один из них осенью 1989 года подарила мне вдова поэта, с чего, собственно говоря, началась даже не вторая, а первая жизнь пьесы: до публикации в «Современной драматургии» она была известна лишь некоторым коллекционерам и друзьям Елагина.

К лету 1950 года все необходимые визы были собраны, вещи упакованы, и Матвеевы с маленькой дочкой отправились на военном транспорте «Генерал Балу» в Нью-Йорк начинать новую жизнь. Об этом Елагин обстоятельно рассказал в третьей, последней части своих поэтических мемуаров, поэме «Нью-Йорк — Питсбург», где о многом повествуется с исчерпывающей полнотой, но только не о личной жизни поэта.

Вскоре после приезда в США Матвеевы развелись. В 1951 году Ольга Анстей вышла замуж за поэта, прозаика и литературоведа Бориса Филиппова, но и с ним брак продлился менее года. На книге 1953 года «По дороге оттуда» Елагин проставил посвящение «О.А.» — Ольге Анстей. Семья не восстановилась, но дружба между Елагиным и Анстей сохранилась до конца, до смерти Ольги в Нью-Йорке 30 мая 1985 года. Осенью 1986 года, незадолго до собственной смерти, Елагин дал на радио «Голос Америки» интервью, где сказал: «Я сейчас собираю стихи покойной Ольги Николаевны Анстей — поэта, по-моему, значительного, с таким тихим и приглушенным голосом, поэта редкого у нас, в ее стихах очень много религиозного сознания, религиозного чувства, такого “нутра”, которое не свойственно нашему поколению, не говоря о том, что она просто мастер стиха. И мне хотелось бы издать ее сборник, я как раз занят тем, что подбираю стихи и готовлю к печати. Не знаю, удастся ли мне». Не удалось: у самого Елагина смерть стояла на пороге.

Но вернемся в Нью-Йорк 1950 года, когда супруги только что разошлись и Елагин, ни слова тогда не знавший по-английски, остался в чужом городе и чужой стране один.

Первое время, как у всякого рядового эмигранта, у Елагина не было в Нью-Йорке ни кола, ни двора. Прямоком с таможни он пошел искать работу.

А там, глядишь — пройдет еще дней шесть —
И у меня уже работа есть:
Я мою пол в каком-то ресторане.
Жизнь начинаю новую мою.
По вечерам я в баре виски пью
И в лавке покупаю всякой дряни.

Кто не жил в голодные годы в Союзе Советских Социалистических Республик, тот и не поймет ничего в этой строфе из поэмы «Нью-Йорк — Питсбург». Потому что слова-то какие: «бар», «виски»! И в лавках можно, пусть и «всякой дряни», но «накупить»! По американским меркам, конечно, не жизнь, а сущая нищета. А по меркам довоенного СССР, даже по меркам послевоенной Западной Европы — не просто жизнь, а жизнь американская, на широкую ногу. Раз уж «накупаю»! Впрочем, осознание того, что между довоенным Киевом и послевоенным Нью-Йорком дистанция поистине космическая, пришло к Елагину лишь в семидесятые годы — вместе с настоящей творческой зрелостью. А в начале пятидесятых, дорвавшись до вожделенной американской свободы, он не знал, что с этой свободой делать. И уж подавно неясно было — как и что дальше писать: к писанию какой бы то ни было прозы, особенно журналистской, Елагин оказался совершенно неспособен.

За первый мой американский год
Переменял я множество работ —

Елагин все свои работы, от склейки пластмассы и стекол до писания каталожных карточек, в поэме сам перечисляет, и нет нужды повторяться. Но очень скоро старейшая русская газета «Новое Русское Слово», поменявшая со дня своего основания в 1910 году решительно все и по многу раз — от формата до политического направления, не говоря о вещах более мелких, — обратила на Елагина внимание. Точнее, не столько на самого Елагина, сколько на его редкостный импровизационный дар.

Такой дар газете очень требовался: рифмованный фельетон был в ней традиционным дежурным «блюдом». «Присяжный фельетонист» «Нового Русского Слова» Аргус (собственно Михаил Айзенштадт, 1900—1970) с нагрузкой не справлялся — хотя писал быстро, но далеко не так артистично, как его предшественники, парижские виртуозы рифмованного фельетона Дон Аминадо (А.П.Шполянский) и Lolo (Л.Г.Мунштейн). И на десять лет Иван Елагин стал штатным сотрудником «Нового Русского Слова» — он был не только фельетонистом, но и корректором, а формально служил в отделе объявлений (что поделать — рифмовал и объявления). В газете его любили, зарабатывал он немного, но не бедствовал. Издательство имени Чехова, прежде чем вылететь в трубу осенью 1956 года, выпустило толстый том стихотворений Елагина — «По дороге оттуда» (1953), вобравший в себя оба изданных в Германии сборника с прибавкой еще трех десятков стихотворений. Весь жизненный путь поэта, от Владивостока до Киева и послевоенной Германии, уместился в эту

книгу. Но Америки в ней еще почти нет. Нет в ней и детищ «фельетонной музыки»: Елагин строго разграничивал три поэтические области: «для домашнего употребления», «для денег», «для печати всерьез». Фельетонная муза служила по второй графе.

Фельетоны, понятно, были делом вынужденным, но не один Елагин в русской поэзии от бедности продавал вдохновение (увы, отнюдь не рукопись, а собственно вдохновение). Впрочем, даже фельетоны были талантливы — как все, за что Елагин брался. В 1959 году «Политические фельетоны в стихах» даже вышли в издании «Центрального Объединения Политических Эмигрантов» (ЦОПЭ) отдельной книгой. От книги этой Елагин в поздние годы отказывался, ни единой строки из нее в свои «избранные» не брал, при возможности норовил «Политические фельетоны в стихах» даже из библиографии своей изъять.

В те годы поэту в США было одиноко. Он выпивал, играл в карты, заводил романы, от которых остались немногие грустные строки:

Я два слова знаю по-английски,
Ты по-русски знаешь слова три.
Я под вечер пью с тобою виски
И с тоской смотрю на словари.

«Серьезные» стихи почти не возникали, хотя кое-что все-таки появлялось и с охотой бывало публикуемо самым престижным в те годы (и, кстати, по сей день) литературным журналом русской эмиграции — нью-йоркским «Новым журналом»: первая публикация Елагина была в № 22 (т.е. в сороковые годы), последняя — в № 161 (в середине восьмидесятых).

Впрочем, довольно быстро Елагин выучил язык своей новой родины настолько, что смог читать на нем и слушать лекции. При всем внешнем успехе, особенно после выхода в 1953 году толстого тома в издательстве имени Чехова, Елагин переживал в пятидесятые годы настоящий творческий и личностный кризис. Но во второй половине пятидесятых, на пороге сорокалетия, жизнь Елагина в который раз круто изменилась.

В 1956 году он познакомился с обаятельнейшей женщиной, русской по матери (из «первой волны» эмиграции), Ириной Даннгейзер:

Я не думал о Вас. Ваше русское имя...

19 апреля 1958 года они поженились. Ирина Ивановна стала с этого дня Матвеевой (Елагиной). В домашнем быту ее

неизменно называли «Ёла» или просто «Ёлка». Это прозвище — как «Заяц» для самого Елагина — сохранилось с детства: родилась Ирина Ивановна в Персии, где не нашлось православного священника, и при рождении девочка получила «крестильное» имя Иоланта; лишь позже, в Европе, православное крещение сделало Иоланту Ириной, но семейное прозвище осталось. Она стала верной подругой Ивану Елагину, в его семейной жизни наступил — насколько это вообще возможно — покой. Молодая жена подарила поэту (в 1967 году) сына Сергея.

Обзаведясь новой семьей, Елагин обрел в поэзии второе дыхание. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов стихи у него вновь «хлынули» — как в юности, но теперь они стали совсем другими. В них вошла ослепительная Америка. Елагин попытался вписать себя в пейзаж американского города, поселка, лесного озера, даже пляжа в Калифорнии. Попытка сродни набоковской: стать американцем, коль скоро живешь в Америке. Но, в отличие от Набокова, Елагин всю жизнь писал только по-русски, по крайней мере — стихи «для печати и не для печати», как обмолвился он в стихотворении, посвященном дочери. Нью-Йорк запечатлелся у него таким, каким был увиден еще в 1950 году с моря, с борта военного транспорта — «извечной городской кардиограммой»; мир воплотился в «кубы, параллелепипеды, и углы, и бетонные плиты»; ночной бар в Гринвич Вилидж разросся до космических масштабов, а встреченный в нем друг словно увиден из грядущего столетия: «Привет тебе, мой сомогильник, / Еще ты со мной на земле. / Привет тебе, мой современник!» Истинный шедевр елагинского урбанизма шестидесятых годов «Поэма без названия» посвящена всего лишь трем экспозициям одного нью-йоркского сквера, где воздвигнут памятник Данте: город недостроенный — город процветающий — город взорвавшийся.

И снова даты. 1963 год — в издании «Нового журнала» выходит совершенно новый поэтический сборник Елагина — «Отсветы ночные»; 1967 год — в том же издании выходит еще один сборник, «Косой полет», в конце которого впервые помещено небольшое «избранное» из прежних книг. В том же 1967 году Елагин окончил университет. В том же году в нью-йоркском баре он повстречался с советским писателем Д. Граниным — тот, уже неплохо зная Елагина по самиздату, стал вербовать поэта на предмет возможности начать печататься в СССР — разумеется, в таких изданиях, как «Голос Родины», и прочих, осуществлявшихся под строгим руководством Комитета по государственно-безопасным связям с соотечественниками за рубежом. Елагин ответил резким отказом: хотите — печатайте в «Новом мире» или в другом серьезном журнале, не хотите — обойдусь. Об этой встрече расска-

зал сам Гранин в одной из первых советских публикаций Елагина («Нева», 1988, № 8), — даже и тогда о судьбе и биографии Елагина еще почти ничего не зная. Боюсь, именно из этой встречи родилось вскоре у Елагина его хрестоматийное стихотворение «Амнистия». Советским поэтом Елагин не хотел быть ни в каком виде — чего не скажешь о его желании когда-нибудь все-таки попасть на российскую (не просто «русскую», как сказано у него) книжную полку. «Советского» в Елагине конца шестидесятых годов только и оставалось, что нержавеющая любовь к Маяковскому. Впрочем, это шло скорее от отца-футуриста, чем от советской культуры.

В советской культуре место Елагина в те годы было в самиздате. В годы не совсем истаявшей хрущевской оттепели «Отсветы ночные», а следом и «Косой полет» в немалом количестве просочились в СССР, — порой их даже почта не конфисковывала (ибо издатель не «Посев», не «Грани» — те издания конфисковывались нещадно, впрочем, изрядная часть «конфиската» немедленно воровалась и шла на черный рынок). С этого времени началась самиздатская известность Елагина, не гаснущая и по сей день, — одно время машинописные копии «Отсветов» и «Полета» попадались в Москве не реже, чем Ходасевич или Мандельштам, хотя количественно копий Гумилева или Северянина было, понятно, много больше. Однако КТО ТАКОЙ Иван Елагин — читатели все еще не знали (а кто знал, тот молчал). Даже Федор Панферов, очень хваливший поэта Ивана Елагина во время наезда в Лондон, понятия не имел, что хвалит того самого беспризорника, которого некогда отловил на Сухаревке и отправил к отцу в Саратов.

В шестидесятые годы Елагин всерьез взялся за поэтический перевод.

Перевод эпической поэмы Стивена Винсента Бене «Тело Джона Брауна» — около пяти лет работы — принес Ивану Елагину в 1969 году степень доктора в нью-йоркском университете. А в августе следующего, 1970 года поэт вместе с семьей переехал в Питсбург, где стал профессором местного университета. Там он купил дом, там провел оставшиеся ему почти семнадцать лет жизни среди любимых книг, картин, близких, друзей и учеников. Пришло что-то вроде благополучия.

«Тело Джона Брауна», как и другие переводческие работы Ивана Елагина, стоит отдельного внимания. Война Севера и Юга — двенадцать тысяч строк перемежающегося стиха, то рифмованного, то белого, то верлибра, десятки сюжетных линий... Оригинал поэмы был издан в 1928 году, принес Бене премии и репутацию классика при жизни, его имя попало в школьные учебники. Но это в США. В СССР о поэме даже специалисты упоминали вскользь, хотя само существование

Бене не игнорировалось: незадолго до своей смерти Бене сочинил стихотворение «Россия», которое и прочитал на банкете Общества американо-русской помощи 18 мая 1942 года; в переводе М.А.Зенкевича оно много раз печаталось в СССР, но этим все и ограничивалось.

И вот первая песнь грандиозной поэмы, точнее ее русский перевод (около двух тысяч строк), появилась в 1970 году в журнале «Америка», мгновенно «распознанном» довольно многочисленными к тому времени московскими поклонниками Елагина. Это было первое «легальное» явление Ивана Елагина советскому читателю. Московские фанаты поэта в очередной раз уселись за свои «Эрики» (берущие, как известно из Галича, четыре копии), а мое терпение лопнуло: я раздобыл питсбургский адрес Елагина и стал писать ему. Письма то пропадали, то возвращались, наконец пришел ответ — он датирован 17 марта 1972 года:

«Простите, что отвечаю с опозданием. Под Новый Год по дороге из Чикаго я со всей семьей попал в автомобильную катастрофу. Слава Богу, все остались живы, но пришлось больше месяца проваляться в больнице. Да и сейчас еще чувствую слабость».

Здесь нужно ненадолго отвлечься от предисловия и отыскать в нашем Собрании сочинений стихотворение «Наплыв» — «Мы выезжали из Чикаго...» В нем Елагин снова и снова переживает катастрофу, что под новый, 1972 год слилась для него с бешеным бегом «скорой помощи» на Андреевском спуске осенью 1941-го. Иначе говоря, ответ на мое письмо Елагин писал после той самой катастрофы, что подарила читателям «Наплыв», где поэт обмолвился ключевыми для понимания его творчества словами — «Во времени, а не в пространстве».

Так из Питсбурга семидесятых годов стал протягиваться мост в довоенное, киевское прошлое. Из хорошего поэта Елагин в эти годы стал превращаться в очень большого: поздние его книги почти не содержат слабых стихотворений, в них время и пространство переплетаются настолько сложно, что читателю уже не отделить киевский листопад от питсбургского. Четвертое измерение пространства — время — становится той основной координатной прямой, вокруг которой строится елагинский поэтический мир, устремленный в давнее прошлое Америки — «Где бегали индейцы-лучники — / Мостов защелкнулись наручники...»; образ Гамлета, возникнув в семнадцатом веке, простирается в двадцать шестой, а море, чудовищным спрутом ворочавшееся за кормой корабля Одиссея, плещется о ветровое стекло машины самого Елагина. В семидесятые годы «вексель», о котором некогда писал Георгий Иванов, был Елагиным полностью погашен.

В том же письме ко мне, что процитировано выше, Ела-

гин писал: «Мной закончена новая книга стихов (примерно 120 стр.). Если напечатаю — пришлю». Речь шла об очередной книге Елагина — «Дракон на крыше», вышедшей в 1973 году в издательстве Виктора Камкина (Роквилль), с обложкой и иллюстрациями Сергея Голлербаха — в эти годы он был уже известным всей Америке художником. Впрочем, «Дракона» Елагин мне не послал, а позже объяснил причину: «Вместо “Дракона на крыше” (очень плохое — не типографское издание) пошлю Вашему дяде¹ мой последний сборник — “Под созвездием Топора”. Туда вошло лучшее из “Дракона”» (письмо от ноября 1977 г.).

Действительно, в 1976 году Елагин наконец-то выпустил полноценную книгу «избранного» — о ней он и пишет. Вышла книга в «Посеве», во Франкфурте-на-Майне, и открытой почтой, понятно, в Москву никак бы не дошла. К тому же Елагин в те годы уже всюду печатался в «Континенте», из авторов «второй волны» этот журнал признал его, кажется, первым, — соответственно возросла и «непровозимость» книг Елагина через советскую таможню. Однако плотный кирпичик «Под созвездием Топора» (вместе с другим плотным кирпичиком — «Поколением обреченных» Галича, что очень символично) на бесстрашной груди моего немецкого дяди советскую таможню миновал и попал в мои руки.

Конечно, три четверти книги я и до того знал едва ли не наизусть. Но поразителен был ее последний раздел — «Новые стихотворения», содержащий «Нечто вроде сценария», «Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой...», «Все города похожи на Толедо...» и настоящую декларацию Елагина — «Не в строчке хорошей тут дело...», кончающуюся чуть ли не поэтическим завещанием:

Но помни, что ты настоящий —
Лишь все потеряв,
Что запах острее и слаще
У срезанных трав,

Что всякого горя и смрада
Хлебнешь ты сполна,
Что сломана гроздь винограда
Во имя вина.

Таким предстал читателям *поздний* Елагин, профессор Елагин (на этот раз уже без иронии), запечатленный с Иосифом Бродским на поэтическом вечере в Питтсбурге в 1974 году: измученный астмой немолодой человек с вечными круга-

¹ Мой дядя — Рудольф Райнбах (1907—1985), брат моего отца, с 1918 года живший за границей (с 1934 г. — в Германии), наездами бывавший в СССР и кое-что провозивший для меня через таможню.

ми вокруг глаз. Помимо основной преподавательской работы в Питсбурге, с лета 1968 года Елагин преподавал русскую литературу в Русской летней школе в Миддлберри, штат Вермонт, и отдал этому делу больше пятнадцати лет — лучших учеников обрел Елагин именно в этой школе, где преподавание велось по-русски и даже в быту ученики по мере сил старались разговаривать на языке Пушкина и Елагина; сохранились десятки записей его лекций и разговоров, кое-что из них опубликовано, буквально все — интересно. Впрочем, многие его острые словечки, записанные студентами, обнаруживаются в его же более поздних стихах. Такое бывает только с очень полно реализовавшимися творческими натурами.

О том, что рано или поздно его стихи к московскому читателю попадут, Елагин знал точно («Пойдут стихи мои, звеня / По Невскому и Сретенке; / Вы повстречаете меня — / Читатели-наследники» — это стихи еще шестидесятых годов).

В одном из интервью «Голосу Америки», подлинные записи которых любезно предоставили мне сотрудники радиостанции, Елагин говорил о неизбежном слиянии «внутренней» и «внешней» русской литературы, притом — в скором будущем: «Развиваются как бы два русла, но неизбежно их слияние, неизбежно в конце концов это должно стать одним, и мы видим этот процесс — медленный, он и сейчас происходит. Скажем, бунинские стихи сегодня уже изданы в Советском Союзе, то же произошло и с Цветаевой, то же, вероятно, произойдет в свое время и с Георгием Ивановым, и с Ходасевичем, и, надо надеяться, со многими другими. Так что в общем это несущественно, это разделение. Это — одна литература, разделенная не по литературным причинам».

В письме Елагина ко мне от 26 мая 1978 года есть строки: «Еще раз благодарю Вас за внимание ко мне — этим я не избалован. Отношение ко мне как к поэту на Западе более чем тепло-прохладное». Евгений Евтушенко во вступительной статье к составленной им антологии русской поэзии «Строфы века» писал: «Выдающийся поэт “второй волны” Иван Елагин полжизни отдал американским студентам в Питсбурге, героически перевел “Тело Джона Брауна”, а сам умер даже без тонюсенькой книжки на английском»¹. Справедливости ради, заметим: книги на английском поэт не дождался, зато у него, на двоих с Моршеном, вышел сборник на голландском — «Меж двумя зеркалами» (Маастрихт, 1985). Появлялись отдельные стихотворения в переводах на самые разные языки, от английского до китайского, но настоящее признание к Елагину могло прийти только в России, «в оригинале». Увы, оно пришло лишь посмертно, а по большому

¹ Строфы века / Составитель Евгений Евтушенко. Минск—Москва: Полифакт, 1955. С.11.

счету, несмотря на десятки публикаций в альманахах и журналах, газетах и еженедельниках (часто — миллионными тиражами «перестроечных» лет), настоящее признание приходит лишь теперь — вместе с изданием этого двухтомника: кстати, как предсказал Елагин, вслед за собраниями сочинений Георгия Иванова и Ходасевича.

Хотя, собственно, это признание номинальное — в самиздате Елагин циркулировал тоннами. И здесь хочется процитировать не Елагина, а петербургского поэта Николая Голя, автора проникновенного стихотворения о нашем самиздате:

А хотите, скажу, за что я
благодарен годам застоя?

А за то, что так научили
говорить, как не говорили
никогда нигде ни о чем
(это я не про сложность тропов
и иронию, и эзопов
здесь язык как раз ни при чем).

...А за то, что натренировали
так читать, как вовек не читали,
и утроили этот дар
(это я не про строчки точек,
и не чтение между строчек,
и не про шестой экземпляр) —

а про то, что в пылу бесед
иль под утро, уткнувшись в книжку,
никогда не тянул на вышку,
а, как максимум, — на семь лет.¹

Этот гимн Уголовному кодексу СССР, по которому даже за чтение и хранение — страшно сказать! — Солженицына больше семи лет не давали (если только не наводили «амальгаму» и не припаивали уже чисто уголовную статью), видимо, применим и к Елагину. Я не знаю примеров, когда давали срок конкретно за него и каков этот срок был, но знаю доподлинно, что составитель трехтомного собрания сочинений Бориса Поплавского, писателя куда более «невинного», чем Елагин, три года лагерей получил. Николай Голь, кстати, читал Елагина по моим копиям, чего уж теперь таить.

Но о своей самиздатской известности Елагин знал больше понаслышке, а критики-эмигранты в оценке елагин-

¹ Поздние петербуржцы: Поэтическая антология. СПб., 1995. С.9–10.

ского творчества не были единокорными, и особой остротой их отзывы не блистали. Главный упрек был брошен еще Владимиром Вейдле: Елагин «не лирик». Главный аргумент защиты — «огромный талант». Елагин же спешил написать последние стихи; хотя был он и недоучившимся врачом, но по ряду примет самочувствия понимал, что времени — особенно творческого — у него остается немного.

«Поколение обреченных» в конце семидесятых — начале восьмидесятых вымирало буквально на глазах. Фронтовики и ровесники фронтовиков хлебнули столько «горя и смрада», что долгой жизни это никак не способствовало. В 1982 году вышел объемистый и очень сильный сборник Елагина «В зале Вселенной», но это была уже последняя его книга. В июле 1985 года он написал в письме к Т. и А. Фесенко: «...я тоже угодил в больницу. Последние месяцы я быстро уставал и за 3—4 недели потерял 20 фунтов. Зрение резко ухудшилось. *Диабет*. Врачи говорят, что в моем возрасте это не очень опасно...»¹

Увы, это было опасно, и это был не только диабет.

«Последние дни Ивана Елагина» — так называлась грустная «поминальная» статья Валентины Синкевич, опубликованная в 1990 году в «Новом мире» — в том самом, где Елагин некогда «разрешил себя печатать».

«О недомогании, — пишет Сенкевич, — он говорил еще летом 1986 года. Тогда в Норвичском университете я была поражена его усталым видом и значительной потерей веса. Наконец, врачи установили точный диагноз: рак поджелудочной железы. <...> Как-то в разговоре со мной по телефону он даже поблагодарил судьбу за то, что послала ему именно этот быстро текущий вид рака»².

Друзья и поклонники поэзии Ивана Елагина, зная, что жить поэту осталось всего ничего, решили сделать ему прощальный подарок: скинулись по сотне — по две долларов, чтобы издать его новую книгу. Деньги внесли главный редактор «Нового Русского Слова» Андрей Седых, друг киевской юности Рюрик Дудин, поэты Николай Моршен и Игорь Чиннов, прозаики Владимир Юрасов и Юрий Елагин; основную сумму в две тысячи долларов дали супруги Фесенко, а тяжесть подготовки нового сборника, «итогового избранного», взяли на себя супруги Ржевские, с которыми Елагин подружился еще в «казармах СС» под Мюнхеном, — поэтесса Аглая Шишкова и прозаик Леонид Ржевский. Ржевский много работал над составом книги, но при ближайшем рассмотрении видно, что сделана она «на живую нитку»: не попало в нее ни «Нечто вроде сценария», ни «Цыганский табор осени...» (слишком длинно), ни «Здесь дом стоял. И тополь был...»

¹ Фесенко Татьяна. Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным. С. 139.

² Новый мир. 1990. №3. С. 190.

(ставшее затерто-хрестоматийным после того, как в 1960 году вошло в антологию Ю. Терапиано «Муза Диаспоры»), не выверена текстология — ряд стихотворений напечатан в ранних редакциях... Ржевский, увы, умер раньше самого Елагина — от сердечного приступа. «Потерю долголетнего друга умирающий поэт воспринял очень болезненно. “Умер последний джентльмен”, — сказал он мне по телефону»¹.

Но саму книгу — «Тяжелые звезды» — Елагин все же успел увидеть, даже многим ее надписал; лишь экземпляры в твердом переплете, появившиеся буквально за два дня до смерти поэта, остались ненадписанными — больше не было сил держать в пальцах карандаш.

В Филадельфии Елагина пытались лечить, на короткое время наступило улучшение. Но... Валентина Синкевич вспоминает: «Поэт продиктовал дочери объявление о своей смерти. По-прежнему слушал он тихо игравшую классическую музыку, но говорить уже не было сил. Накануне его отъезда в Питсбург я приехала к нему попрощаться. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами, так как все время зяб. Вдруг, открыв глаза, он спросил меня: “Как фамилия режиссера, хвалившего мои стихи на выступлении в Бостоне?” “Любимов?” — спросила я. “Да, Любимов. Я никак не мог вспомнить его фамилию”. И снова закрыл глаза. Это были последние слова, которые я слышала от Ивана Венедиктовича»².

8 февраля 1987 года поэт Иван Елагин скончался в Питсбурге, там же был отпет и похоронен. На его могиле стоит камень с выгравированным по-английски именем и датами жизни; на том же камне — восьмиконечный православный крест.

Василий Толмачев в своей большой работе «Христианские мотивы в русской поэзии и творчестве Ивана Елагина» высказывает сомнение о наличии религиозной темы у Елагина как таковой³, ссылаясь на более чем странное утверждение Т. Фесенко: «У Елагина нет религиозных стихотворений»⁴. Ниже Толмачев объясняет «нерелигиозность» поэзии Елагина более чем странно: «По-видимому, некоторая несформулированность елагинской поэзии — одно из важнейших ее свойств»⁵. Но, во-первых, Елагин — чуть ли не один из самых афористичных поэтов XX века, иной раз — до трюизма («Есть только ширь бессмертного пространства, / Где мы и камни — смертные жильцы»); во-вторых, свое религиозное кредо Иван Елагин ясно сформулировал, притом именно в поэзии.

¹ Новый мир. 1990. №3. С.190.

² Там же. С.192.

³ Canadian-American Studies. 1993. V.27, №14.

⁴ Фесенко Татьяна. Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным. С.125.

⁵ Толмачев В. Христианские мотивы русской поэзии в творчестве Ивана Елагина // Canadian-American Studies. 1993. V.27, №14. P.51.

И не вина поэта, если это кредо оказалось не совсем традиционно в привычно-церковном толковании. Речь идет о стихотворении Елагина «Худошавым подростком...», где вновь возникает бессмертная для поэта фигура его отца — Венедикта Марта, — запечатленного перед арестом под киевским каштаном в июне 1937 года. Елагин заканчивает стихотворение так:

И пока океаны
Миражи все свои не растратили,
Человек все стоит у каштана,
А вокруг человека приятели.

И над ним распростерта
Та ветка — шумит, как шумела.
Воскрешение мертвых —
Наше общее с деревом дело.

Последние строки этого стихотворения — прямая цитата из великого русского философа Н.Ф.Федорова, чья «философия общего дела» предполагала единое для всех живущих целенаправленное занятие: воскрешение всех людей, когда-либо живших на земле. С шестидесятых годов нашего столетия учение Федорова получило всемирную известность, притом в первую очередь — в США. Елагин отнюдь не «совпал» с Федоровым, он открыто принял его сторону, да еще антропоморфировал мир до того, что единое дело у него делают человек и дерево. Это не еретический пантеизм, за который был сожжен Джордано Бруно. Это — благороднейшая и достойнейшая позиция поэта и верующего. Верующего по-своему.

«Смерть не все возьмет — смерть только свое возьмет», — писал один из лучших русских писателей XX века Борис Шергин. Истинную поэзию смерть не возьмет, не ее это дело. А для живых, издающих и читающих книги, дело всегда есть, и дело это общее, из всех важных — самое важное.

Воскрешение мертвых.

Евгений Витковский

ПО ДОРОГЕ ОТТУДА

1953

Усталый город пал в ночное лоно.
 Душе — застенок сна.
Над головой в горбатых ветвях клена
 Запуталась луна.

Жемчужный дым заполнил купол темный.
 И, плавая в дыму,
Глядят с тоской бездомных духов сонмы
 В надзвездную тюрьму.

Там улица кончалась. Там
Река поблескивала снизу.
Луна с карниза по карнизу
Плелась за нами по пятам!

И лестница упала там
До самой пристани, до самой
Волны сутулой и упрямой,
Надоедающей бортам.

А мы стояли у перил,
У срезанного края кручи,
А ветер тучи перерыл
И посбивал деревья в кучи.

И прядь волос — твоих волос —
Мне ветер даровал как милость...
Как время не остановилось?
Как сердце не оборвалось?

Так. Маскарад вечерний начат.
Расторгнут занавес зари.
Как виселицы, замаячат
На перекрестках фонари!

И тени супятся, и серый
Наваливается фасад,
И улица плывет галерой,
И вспять шарахается сад!

Всё в судорогах, и трамваев
Не выпускают стыки рельс,
Покуда сумерки, истаяв,
Не завершат заклятый рейс.

Да. Только ночь поставит финиш!
Ты, ночь, безвыходная сплошь —
Оцепишь город, и нахлынешь,
И отодвинешь. И сотрешь.

Апрель! Я болен этой датой!
За крышей — голубой клочок,
И грач слетел, как завсегда,
На облюбованный сучок.

Кричит — и на гортанный вызов
К нему сородичи спешат,
И хлещет жижица с карнизов,
Как будто вылили ушат!

Очнутся люди, хлынут песни
И вскроют окон переплет.
Зашевелись скорей и тресни,
Души осунувшийся лед!

Так. Детство ранено навывлет.
Остановись в лесу, шепни:
Зачем они березы пилят
И выкорчевывают пни?

Калитку, дом и воздух самый
Не тронули шестнадцать зим.
Но шум осинника за ямой
Был жуток и невыразим!

Теперь — канава и крапива
И пожелтевшая лоза!
О, страхи детства, как красиво
Вы искажаете глаза!

А будем ли мы помнить? Или
Мы выкорчем призрак дней,
Когда мы птицу хоронили
И крестик ставили над ней?

Тяжеловесные струи
Ливень апрельский пролил,
Их на ходу оркеструя
Для проводов и кровель!

Захлебывалась мостовая
От бурной скороговорки!
В доме, не переставая,
Бились оконные створки!

Оторопев, помешкав,
Ливень пошел на попятный.
Стали уже вперебежку
Вспыхивать белые пятна.

Старый забор перекривлен,
Скомкан кустарник старый.
Гневными бивнями ливня
Размозжены тротуары!

Эти облитые кровью
Клены у изголовья!
Эти деревья — вымысел!
Это художник выместил
На пятипалых листьях
Желчную горечь кисти!

Но, скомканны и ветхи,
Облупливаются ветки
То киноварью, то охрой
На подоконник мокрый...

Всё выговорит пригород!
Выговорит и выгорит!

АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Из-за моста Цепного
Город возносит дома.
Ты же горишь бирюзово
Там, на вершине холма.

О как стройны колонны
И купола легки!
О как отвесны склоны
И берега реки!

Наотмашь бьет по векам ветер меткий.
Рассвет ушел в сугробы с головой.
Со скрежетом обледенелой веткой
Размахивает тополь угловой.

Как неуютно летчику на высях!
Скитайся и туманы разрывай!
Голубоватую зарницу высек
На повороте вздрогнувший трамвай.

А ты идешь, замотанный по шею,
И окрики доносятся извне:
Прокладывают дворники траншею
На противоположной стороне.

В океане сумрак долог,
Но у мачты нам светло!
Месяц — зеркала осколок,
Парус — белое крыло!

По расшатанным помостам
До снастей добрались мы!
Видишь — волны тост за тостом
Подымают у кормы?

Ни земли, ни скал, ни мелей,
Ни огня, ни корабля...
Только темных ожерелий
На груди твоей петля!

У кормы дубовой сядем
На заржавленной цепи!
Хочешь — к падающим прядям
По черешне прицепаи?

Грузным ветром парус налит,
Мачта вбок наклонена,
И того гляди — повалит
Ошалелая волна!

Шумно празелень раздвинув,
Кузов пеною оброс.
В стаю черную дельфинов
Острогу метнул матрос.

Птицы сгрудились на реях!
Это чайки — посмотри!
И на мачтах, на обеих
Закачались фонари!..

Встали за ночь сугробы в сажень.
Узкий двор мертвеца белей.
Видишь, милая, я взбудоражен,
Ну, хоть ты меня пожалей!..

Может быть, это только усталость,
Но я помню: всю ночь напролет
То ли птица у окон металась,
То ли волк завывал у ворот!

Всё, что видишь в бреду, — не упомнишь,
Только в нем что-то вещее есть...
Твое имя возникло на помощь,
Но его я не мог произнести!

Горят за окнами напротив
Алмазы звездного ковша.
Над лирой, брови озаботив,
Склонилась Муза, не дыша.

На человеческую ложь
Обрушья огненным тайфуном,
И в этом хаосе подлунном
Сердца и кровли растревожь!

За жизнь, растраченную наспех,
За слезы в каторжном пути —
Гори в непримиримых распрях,
Земле и людям отомсти!

Вот мы покинули порт!
Ветер, мой верный попутчик!
Хлещет волна через борт,
Чайки на мачтах скрипучих!

В сумерках берег красив!
Горные гребни лиловые...
Парус под ветер скошив,
В море идут рыболовы!

Остановись — бокал не допит
И тосты грянули не все!
А ветер облака торопит
И гонит к черной полосе...

Скудеет мир, и гордых былей
Взывают голоса слабей.
Вино божественное вылей
И на камнях бокал разбей!

Пиры не возродятся боле,
Не огласятся впредь дома
Рабами Джиованниоли
Иль мушкетерами Дюма,

Не скроет мстительную шпагу
Мелькнувший колокол плаща...
А ты... ты не пройдешь и шагу,
Не оглядясь из-за плеча!

Лишь в комнате, за плотной шторой,
Ты пожалеешь, человек,
О той свободе, о которой
Забыли в этот черный век!

О Россия — крошечная тьма...
О куда они близких дели?
Они входят в наши дома,
Они щупают наши постели...

Разве мы забыли за год,
Как звонки полночные били,
Останавливались у ворот
Черные автомобили...

И замученных, и сирот —
Неужели мы всё забыли?

Еще ломаем руки в гневе,
И негодуем, и клянем,
Но в лабиринте ежедневий
Отупеваем с каждым днем.

И равнодушие изведав,
Увязнем в слякоти житья,
И внуки позабудут дедов,
Как позабыли сыновья.

Обуглен ветром сад. Как сумерки коротки!
Бескровный луч зари над Волгою поблек,
И зыблется едва на выступе решетки
Последний отблеск дня — пурпурный уголек.

Просторная река, я от тебя далек,
Но и года спустя воспоминанья четки:
И баржи, и плоты, и парусные лодки,
Как будто я опять у берега прилег!

Здесь те же облака и рдеют зори те же,
Такой же над рекой свисает черный сад...
О, осень, спутница раздумий и досад!

Как беден твой наряд у здешних побережий!
От ливней и ветров, их пасмурных осад,
Он с каждым днем темней и с каждым часом реже!

Где у мола грузили арбузы
И таилась в камнях камбала,
Там мне музами были медузы,
А подругой татарка была!

Ни скалы, ни кустарника — скудно!
И тропа уводила на мыс:
Там стояло пробитое судно,
Озадаченно парус повис.

Но о трюмах, о тросах, о трапах
Рассказала нам шхуна сполна,
И смолы утоляющий запах
Доносила до мола волна!

Степь. И всходит месяц белёсый
Из-за лиловых завес.
Степь. И скачет всадник раскосый
С пикою наперевес.

То взлетит, то в травах потонет...
Конь половчанина лют!
Если вражьи стрелы догонят —
Вцепятся и заклюют!

Так взвивайтесь вослед и рвитесь,
Гибелью черной звеня!
Но добычи не бросит витязь,
Не остановит коня!

О, недаром недругов лютых
В шуйце завязло копье!
О, княжна! В половецких путах
Острые груди ее!

Ни зги, но ветер. Уличным фигляром
Снует фонарь. И мир опустошен.
В такую ночь бродить по тротуарам,
На брови сдвинув черный капюшон!

И проникать за тайну строгих ставен,
В чужую темень мысли уводя,
И вдруг понять, как повторим и давен
Весь этот сон из ветра и дождя...

О снег врасплох! О гибельный набег
На провода, на ярусы фасада!
Как негодует сад! Но снег и снег —
Он день и ночь идет на приступ сада.

Уже сугробы тяготят карниз,
Уже завязли, и в снегу по пояс
И ель, и вяз... Он глыбами навис,
Между ветвями царственно покоясь.

Вплотную к окнам жметя синий пласт.
Еще вершок — и форточки засыпет!
Нет, ласточке не улететь в Египет,
И всё дотла Счастливый Принц раздаст.

У зимних яблонь — твердый наст.
Так неожиданно и редко
Дождем серебряным обдаст
Пошелохнувшаяся ветка.

Туда, туда, где снег высок,
И помнят папоротник стекла,
И льда отточенный кусок
Под крышею, как меч Дамокла!

Отталкивался дым от папирос
И обволакивал изгибы кресел,
И, медленно приподымаясь, рос
И облаками комнату завесил.

Редели стены, ширился провал,
И море выросло посередине.
И голос женщины повествовал
О нелюдимом Александре Грине.

О гаванях, где каждый парус пьян,
Где родина несбывшаяся наша,
Где в бурной тьме безумствовал Аян
И Гнор ступил на побережье Аша.

Туда, к архипелагу непосед!
В страну задумчивых и окрыленных!
Привет переплывающим Кассет
На кораблях, по горло нагруженных!

Идти, отстаивать за пядью пядь,
Бродяжничать и промышлять разбоем,
Наскучит — ветром паруса распять
И выйти в море с лоцманом Битт-Боем!

Когда ж на бриг обрушится норд-вест —
Бороться врукопашную с волнами,
И побеждать! И видеть Южный Крест,
Рукою Бога поднятый над нами!..

МОЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

Отчего, не знаю, взоры
Неожиданно привлек
Этот звякающий шпорой,
Этот бронзовый сапог!

О бретерах и о мотах
Рассказали, как слова,
Кружева на отворотах,
Щегольские кружева.

А за окнами всё то же:
Тот же тополь, тот же дом,
Тот же сгорбленный прохожий,
Тот же двор, покрытый льдом...

С глаз долой! Спустите шторы!
Мы устроим век иной!
Здесь сегодня мушкетеры
Побеседуют со мной!

Попрошу, чтоб рассказали
Всё, что знали на земле:
О боях, о кардинале,
О надменном короле,

О дорогах и тавернах
И аббатствах вековых,
О любовницах неверных
И дуэлях роковых!..

У бочонка сядут гости,
Будет смех и стук костей,

И монет тяжелых горсти
Лягут в складки скатертей.

Все растает на рассвете,
Как бургундского пары.
И останусь я, да эти
Стены, книги и ковры...

За опущенною шторой
Я до утра лампу жег,
Оттого, что звякнул шпорой
Мушкетерский сапжок!

Там сук над водой перегнут,
И берег отчетливо выписан...
Мне кажется, я — Пер Гюнт,
Которого выдумал Ибсен!

Выдумал и обрек
Скитаться в скалах и насыпях...
Встала заря поперек
Елей, распахнутых наспех.

Что это? Рондский бор?
Хижина? Кто ее выстроил?
Память — как возглас в упор,
Как водопад, как выстрел!

И сразу — от белых камней
До кустика — всё опознано!
О, Сольвейг! Выйди ко мне,
Если еще не поздно!

Там тень извозчика на козлах
В сугроб упала голубой
И вереницу звезд промозглых
Туман волочит за собой.

Там стонет каменное ложе
Воспетой Пушкиным реки,
И тот же мост, и небо то же
Висят, столетьям вопреки!

Там, к ночи подступя вплотную,
Былая жизнь глядит в упор:
Раскольников через Сенную
Проносит под полой топор!

Там, на Столярном, в доме Штосса,
В руках у мертвого — онёр,
И на партнера смотрит косо
Проигрывающий партнер...

Там, вдоль по Невскому со свистом
Мчать лихачам не надоест,
И делом заняты нечистым
Те двое, что вошли в подъезд!

Там эхо тысячами мокрых
И гулких набережных плит
Ночного будочника окрик
До самого рассвета длит.

ТЕРЦИНЫ — АКРОСТИХ

Аборигены моря и таверны!
Ликующие гавани, огни!
Еще буссоли и квадранты верны.

Крепчай, зюйд-вест, и Южный Крест нагни
С расшатанных небес к согбенным реям!
Акулам лишь и демонам сродни

На одичалом корабле мы реем.
До парусов швыряет пену шквал,
Растет волна зеленокрылым змеем!

Гарпуном в грудь иль ромом наповал
Разит судьба, но несравнима доля —
Изведав бури, обрести привал

На развеселых доках Сан-Риоля!

Брызги охры и кармина — осень!
Угли милого камина — осень!

За оградой парк — цыганский табор,
И поет, поет рябина — осень...

Отчего ж из моего стакана
Не допита половина — осень?

По-зимнему бор оскален.
Дом из бревен. Над ним звезда.
Окно инкрустировал Галлен
Кусками цветного льда.

И бревна, и клочья пакли,
И серые сучья двери —
Солью озерной пропахли
Снаружи и изнутри.

Но кажется очень чинным
Этот суровый уют:
Даже гнездо над камином
Деревянные птицы вьют!

Чернильница! Досталось и тебе
Волнений от сегодняшнего полдня!
Он простучал капелью по трубе,
Тебя до края звонами наполня!

Он целый час надоедал окну
Потрескиванием падающих льдинок!
Опять перо в чернила окуну
И вызову весну на поединок!

И буду спотыкаться о софу
И нарушать расположение стульев,
Чтоб взять измором первую строфу,
Ее в пустом углу подкараулив!

И снова буду, ночи вопреки,
Бродить по изнуренным коридорам!
Как образумить вас, черновики?
Какой избрать? Смириться на котором?

Уже рассвет! Уймись. Не бормочи.
Прислушайся: там шевелится город,
И с Нестеровской шалые грачи
Тебе кричат, советуют и вторят!

Как руки — властители клавиш,
Как ветер моря подчинил —
Так ты этой ночью возглавишь
Веселую бурю чернил!

Ты странствовать не перестанешь,
Куда бы рассвет ни завез...
О сколько для Музы пристанищ
У гор, океанов и звезд!

Всё помню об этих ивах.
У каждой — врожденный вывих.
О как обнимала ты их!

Там берег песчанен и плосок,
Там мост переброшен из досок,
Там песни повис отголосок.

И тянутся версты и версты
Озер и кустарников черствых.
И все это — ивовый остров.

Там ялик у берега хлюпал,
И месяц, веселый и щуплый,
Обшаривал узкие дупла.

А если сегодня он выплыл,
То он не веселый, а гиблый:
Там пушки беседуют хрипло!

От каждого дерева — гулы!
И с каждого дерева — дуло!
От каждого — смертью подуло!..

Муза мстит. Всю дневную склоку,
Мышью скупость, кривые кивки —
Помнит всё, и поставит в строку,
И не вымолишь ни строки.

Не заметишь птицу ночную,
Севшую на ветлу,
И уже не встанут вплотную
Облака к твоему столу.

Поперек завалено щебнем,
Стенами заслонено...
А давно ли окном волшебным
Было твое окно,

Открытое по утрам
Всем четверем ветрам?

Одеялом завешены стекла,
Тишина стоит у плеча.
Скудный луч на томик Софокла
Клонит нищенская свеча.

Всё пугают огнем да газом —
Нос не высуну из норы!
Лучше б бомбы и газы разом,
Да и к прадедам в тартарары!

Милый ад: ни пушек, ни ружей...
Старый ад с хромым сатаной!
Чем он хуже кровавой лужи,
Именуемой — шар земной!

О, нет ни гнева, ни обиды —
Россия — тень, и сердце — тень,
И все суставы перебиты
У городов и деревень...

Течет исплаканное небо
К чужой стране, к чужим дверям...
То Кремль — гигантская амеба —
Вытягивается к морям!

Рвись, проволока на заставах,
И пограничный столб — вались!
В лесах литовских, в польских травах
Теки, воинственная слизь!

Быть может, выйдя за пределы,
Заполня мир, ты сгинешь в нем,
Ты станешь грязью поределей —
И высохнешь — и мы вздохнем...

1939

ОКТАВЫ

Парк лихорадил. Кашляли, ощерясь,
Сухие липы. Ветер, озверев,
Кидался, переваливаясь через
Ограду парка, на стволы деревьев
И там шумел. В такие ночи Эрос
На смертных свой обрушивает гнев
И мечет безошибочные стрелы
В пределы сердца. В сумрак застарелый.

Я путал за аллею аллею
И всё пытался отыскать скамью,
Твою скамью, которую не смею
Забывать, которой запах узнаю,
Чтобы до утра выстоять над нею,
Чтобы заставить молодость мою
Хотя бы обернуться напоследок
И мне кивнуть из каменных беседок.

Немногое мы называем благом,
А счастью не надобны слова.
Мы низом шли, ступая по корягам,
И моего касалась рукава
Твоя рука. Спускающимся флагом
Тонула осень в логовище рва.
А ров был мир находок и разведок.
Ты шла и капли стряхивала с веток.

Когда бы знать, куда мы счастье денем,
Его и на неделю не продля!
Зачем тебя избрали мы владеньем,
Диковинная горькая земля?
Зачем вином наполнены осенним,
Как праздничные чаши, тополя,

Когда разлукой вымостили боги
Все тропы, все пути и все дороги?

Когда бы знать, что, всё оставя, кинусь
В твои овраги, заросли, репы!
Здесь и деревья просятся: «Возьми нас,
Веди к ней — мы свидетели твои!»
И два листа навстречу ветер вынес
И положил на краешек скамьи...
Благодарю, внимательные листья,
Протянутые руки бескорыстья!

Еле виднеется
Большая Медведица.
Сутулятся у крыльца
Хрустальные деревца.
На улице гололедица.

Гнулись ивы в три погибели
В сторону из стороны!
Высоко фонтаны выбили
Три хрустальные струны.

Всё под ветром кустик вздрагивал,
И катился лист в траву,
И, смеясь, амур натягивал
Золотую тетиву...

Любезная сердцу осень!
Сваленный хлам театральных кулис!
Раскрашенный куст на подставке,
Пожухлый и пыльный.
Сбитые в кучу куски полотняных небес,
Алых и синих,
Высоких и низких,
С прибитой у края звездой!

Мир — и в оркестре сквозняк...

Любезная сердцу осень!
Рыжий парик на каштане.
Жалкие слезы
Жалких актеров
По лицам размазали грим.

Ты вся — эскиз карандашом.
Ты сложена легко и плотно.
Таких фламандцы на полотна
Пускать любили нагишом.

Таких изображали там,
Где прямо пьют вино из бочек,
Целуются без проволочек
И бьют себя по животам!

Вот вечер — медлит и плывет
И облака смешные лепит,
И кажется — луна вот-вот
За крышу здания зацепит.

А рядом музыка. Томят
Смычка невидимые взлеты,
И на балконе воздух смят
Волной вибрирующей ноты.

Смычок занесен в высоту!
Иль ты не видишь — в скачке дикой
Огромный всадник на лету
Застынул с вытянутой пикой?

Стоим, дыханье затая,
Пока не сгинет всадник где-то,
Как будто наша жизнь воздета
На острие его копья.

Звенит трамвай, скрипят телеги
И всё под снежной пеленой.
О, этот снег! Моих элегий
Он был единственной виной.

А в небе сыро, в небе вяло,
Как будто небу тяжело:
Само себя держать устало
И вот на кровли прилегло.

Какая б участь ни судима,
Как ни была бы жизнь строга —
Но только б вечноплыли мимо
Качающиеся снега!

Пусть в этом очень мало смысла
Для рассудительных умов —
Но только б вечно небо висло
Между деревьев и домов!

СОН

Ели во весь рост.
А за сугробом — вепрь.
Ров. Надо рвом мост.
На воротах — герб.

Дом, как большой сруб.
Стены — и сквозь них
Зеркало — свечи — глубь,
Девушка и жених.

Только во сне так
Поступь страшна слуги!
Только во сне так
Все говорят шаги!

Только во сне так
Окна наискосок
И потолок высок!

Девушка — вся свеча!
До полу лен косы.
Ошейниками бренча,
Ворочаются псы.

Сегодня тебя увезу
В свадебных санях!

Тяжко, тяжело внизу
Охнула дверь в сенях.

.....

Н.Ж.

Их было много — золотистых ливней.
Тебя ломали страстные струи,
Но с каждым днем глядели все наивней
Глаза ошеломленные твои.

Я шел на них! И падал под ударом!
(Господь, глаза ее умилосердь!)
Так тянутся к автомобильным фарам,
Несущим ослепительную смерть.

Я шел на них! А ветер плыл гигантом
И оставлял на мокрых тучах шрам,
И в сумерках бродячим музыкантом
Ходила осень по пустым дворам.

Я знал, что поздно! Знал, что ставка бита,
Что счастье изменяет игроку!
Но я бросался счастьем под копыта,
Чтобы остановить на всем скаку!

И знал: его уже не остановишь!
Мелькнет! Ударит! Рухну! Наповал!
Из всех небесных, всех земных сокровищ
Я только глаз твоих не целовал.

Смеркается. И запах хвои слаще.
Смолистый воздух кажется весом.
Вот так бы век! Когда б не этот смазчик,
Склоненный над чугунным колесом!

О чем же я? Так. О смоле. О хвое.
Всплывают дни поочередно все.
Платформа. Вечер. Музыка. Мы двое.
Когда бы суть не в этом колесе!

Но только сдвиньте, только с места троньте —
И всей тоской обрушится отъезд!
Распахнутая ель на горизонте
Над всем, что было, вычертила крест.

И поезд скачет с насыпи на насыпь,
Укачивает и трясет до слез,
Как будто зуб не попадает на зуб
У рельс и шпал, у стыков и колес!

Он день и ночь пространство бьет навывлет
И до краев разлуками налит.
В одном конце кого-то обескрылит,
А на другом кого-то окрылит!

Как вечерами тротуары глухи,
Как сердцевина города мертва,
Где тучные мошенники и шлюхи,
Как синие прожорливые мухи,
Слетались в ресторанные хлева!

Теперь их нет. Куда девалась наглость?
Еще и первый выстрел не остыл —
Скорей — окно бумажками крест-накрест,
Трюмо на грузовик — и в тыл!

Мы едем. Улицею ли?
То мостовая или ад?
Автомобиль, юли, юли
Между столбов и баррикад,
Между рогаток наугад —
Врывайся в этот непрогляд!

Что там чернеет поперек?
Канавы, вывески иль ров?
Не сбережешь ни рук, ни ног:
Тут собирает ночь оброк
С автомобильных катастроф,
С перевороченных дорог!

В парадном ночь и стужа. В две коптилки
Горит окно на верхнем этаже.
А тополя — обломанные вилки
Нечищенного темного фраже.

От пешеходов улица отвыкла,
И ночь забыла паровозный свист...
Послышалась возня у мотоцикла,
И удаляется мотоциклист.

И глухо вновь... Скорее дьявол взял бы
Весь этот мир, весь этот тусклый хлам!
Как бы в ответ — заносчивые залпы
Перерубают воздух пополам.

ОСАДА

Опять сумасшедшие хлопья
Ликуют, ныряют, парят,
Целуют чугунные копья
Твоих обреченных оград!

Усталый, голодный, военный —
Ты скорчен в предсмертном броске,
И бьется затравленной веной
Нева у тебя на виске!

Они прошли по тысяче дорог —
К Парижу, к Брюсселю, к Антверпену, к Варшаве —
И целый мир от ужаса продрог,
Прислушиваясь к их чугунной славе,
И тяжестью непрошенных знамен
Там каждый камень был обременен...

О сколько их в плененных городах!
Над всей Европою насильственно воздетых —
На башнях, академиях, судах,
Парламентах и университетах,
На ратушах, музеях, крепостях —
Всё тот же издевающийся стяг...

Скабрезно каркнув, пролетает грач
Над улицами, проклятыми Богом,
Над зданиями, рвущимися вскачь
Навстречу разореньям и поджогам.

Над рухлядью ненужных баррикад,
Над остовом обугленным квартала,
Откуда пламя рвалось наугад
И чердаки окрестные хватало...

И судьбы, и жилища сметены.
И там, в нечеловеческом закате,
С перегнутой над улицей стены
Свисают заржавелые кровати.

Осунувшись, и сгорбясь, и унизясь,
Дома толпятся по очередям,
И нищеты жестокий катехизис
Твердит зима базарным площадям.

А рядом бой. Полнеба задымил.
Он повествует нам высоким слогом
О родине. И трупы по дорогам
Напрасно дожидаются могил.

КАМАРИНСКАЯ

В небо крыши упираются торчком!
В небе месяц пробирается бочком!

На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренька.

Всю неделю куролесил снегопад...
Что-то снег-то нынче весел невпопад!

Не рядить бы этот город — мировать!
Отпевать бы этот город, отпевать!

Там небо приблизилось к самой земле,
Там дерево в небо кидалось с обвала,
И ласточка бурю несла на крыле,
И лестница руку Днепру подавала.

А в августе звезды летели за мост.
Успей! Пожелай!.. Загадай! Но о чем бы?
Проторенной легкой параболой звезд
Летели на город голодные бомбы.

Не помышлять, не думать об уюте,
Не отогреть чернила на столе,
Туманен кабинет, и столбик ртути
Давно остановился на нуле.

В сугробах двор, и окна в снежной мути,
И узенькие ветки в хрустале.
И долго мы признательны минуте,
Случайно пересиженной в тепле.

Но ты — поэт. Гляди в лицо пурги,
И стисни мозг, и нервы напряги!
Пусть колет лед по этим нежным нитям!

И что нам лед? Ты только лиру тронь —
И он расплавится. Тугой огонь
И в этот раз мы у богов похитим.

В палисаднике шесть занозин
Тараторят речитатив.
Вы простите, что несерьезен
И с деревьями неучтив!

Да деревья ли? Просто ветошь!
Каждый кустик ветром измят!
Я в притворстве совсем несведущ,
Я поэт, а не дипломат!

Для прогулок несносен климат
И покинул дом истопник...
Но всё же они не отнимут
Наших причудливых книг!

Хотя и не знаю толком,
Какую из них разверну,
Но, блуждая по книжным полкам,
Мы отыщем такую страну,

Где электричество в доме,
И дровами очаг набит,
И нет места обидам, кроме
Самых высоких обид!

Слова, что камень, — никогда не дрогнут,
Я их ваял, всю нежность соскребя.
Мой бедный стих! Ты наглухо застегнут.
Какие ветры распахнут тебя?

За то, что я прикинулся поэтом,
За то, что музу называл сестрой.
За то, что в мир ушел переодетым
В чужое платье, на чужой покрое —

Мой каждый слог мне ложем был Прокруста!
Мой каждый стих рождался чуть дыша!
Смирительной рубашкою искусства
Спеленута свободная душа.

Мой горизонт словами был заставлен.
Они всё солнце заградили мне!
Затем чтоб стих был набело исправлен,
Вся жизнь моя заброшена вчерне.

Я предал жизнь! Обиду за обидой
Я наносил ей сам своей рукой!
Я приказал ей быть кариатидой,
Согнувшейся под каменной строкой.

Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море,
И на путях дымятся груды шпал,
И проволока вянет на заборе.

Они молчат — свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.

Но труден день очнувшейся земли.
Уже в портах ворочаются краны,
Становятся дома на костыли...
Там города залечивают раны.

Там будут снова строить и ломать.
А человек идет дорогой к дому.
Он постучится — и откроет мать.
Откроет двери мальчику седому.

Топчемся, чужую грязь меся.
Тошно под луною человеку.
Отвязаться бы от всех и вся!
С темного моста да прямо в реку!

Гибнет осень от кровопотерь,
Улица пустынна и безлиства.
И не всё ли мне равно теперь —
Грех или не грех самоубийство,

Если жизнь тут больше ни при чем,
Если всё равно себя разрушу,
Если всё равно параличом
Мне давно уже разбило душу.

Думал — осенью буду счастливым,
Да со счастьем всегда нелады,
И обрызганы мюнхенским пивом
Эти мюнхенские сады.

Я давно уже в роли растяпы
И за жизнью тащусь позади,
И поля моей старенькой шляпы
Обломали чужие дожди.

Я серьезных не слушаю споров,
Да и шуток уже не шучу.
У судьбы-то прижимистый норов,
А противиться не по плечу.

То на улице мерзну безлюдной,
То слоняюсь среди пустырей,
Чтоб какой-нибудь смерти нетрудной
Приглянулся бы я поскорей.

Год за годом — верста за верстой...
А про счастье слыхали наслышкой.
Все мы платим земле за постой
Сединою, тоской и одышкой.

А быть может, и счастья-то нет,
Есть одни надоевшие бредни.
А вели нас к нему в кабинет,
Да оставили в грязной передней.

Что ты лжешь мне, постылая жизнь!
Разве мало тебе идиотов?
Отцепись от меня, отвяжись!
Я тебя уже сбросил со счетов.

Подводила к высокому вязу,
Зазывала в глухие поля...
Твоему голубому отказу
Я не сразу поверил, земля.

Для того ли в туман приальпийский
Уводили меня колеи,
И твои золотые записки
На дороги летели мои,

Чтобы сгинуть в беззвездной Европе,
Где панели тоской налиты,
Где рассвет, как забойщики в копях,
Отбивает от ночи пласты,

Где, как сумерки, улицы стары,
И на каждых воротах броня,
И смертельные желтые фары
Отовсюду летят на меня,

Где сады багровеют от желчи
И спешат умереть облака,
Где тоскуют и любят по-волчьи
И бросаются вниз с чердака.

Лужицы — как цинковые миски.
С крыш, с деревьев, с проводов течет.
По камням дожди, как машинистки,
Отстучали годовой отчет.

На ходу влетают мне за ворот
Два кленовых солнечных листка.
Это осень оставляет город,
Вдоль дорог бегут ее войска.

И вослед уйдут последним взводом
Белые листки календарей,
И воскликнут люди: «С Новым Годом!»
Чтобы стать еще на год старей.

Облетают мысли с каждым шагом.
Прохожу по скверам не спеша.
Скоро выйдет к миру с белым флагом
Перемирье заключать душа.

Каштановым конвоем
Окружено окно,
И вся земля запоем
Пьет красное вино.

Мой голубой автобус
Уходит на бульвар.
Как мне понятна робость
Его туманных фар!

Он весь как на эстраде,
Под рыжей бахромой.
И люди в листопаде
Не ходят по прямой.

От парка и до парка
Он ветрами несом.
И осень, как овчарка,
Бежит за колесом.

День отступит, тьма поборет,
Выйдут звездные полки...
С Новым Годом, старый город!
С Новым Горем, земляки!

Тот повесится в уборной,
Этот бросится с моста,
У кого-то ночью черной
Вынут дуло изо рта...

Кто еще нас объегорит,
Счастье новое суля?
С Новым Годом, старый город!
С Новым Голодом, земля!

За далекой переправой,
Может, бросим якоря,
Где-то проволокой ржавой
Повстречают лагеря.

Не повесят, так уморят,
Не леса, так рудники...
С Новым Годом, старый город!
С Новым Горем, земляки!

Кончается ночь снеговая,
И крыши всплывают грядой.
Звезда над дугою трамвая
Дрожит Вифлеемской звездой.

Ночь канула, с места не тронув
Двухтысячелетней канвы,
И где-то с вокзальных перронов
Выходят седые волхвы,

И елка в окне магазина
В плену золотого дождя...
Но старые три господина
Ушли, никого не найдя.

Млечный путь осел на колею.
День жесток, а ночь еще жесточе.
У столба дорожного стою
За колючей проволокой ночи.

Так же будет сотни лет спустя.
Ни один не вырвется из клетки.
Так же будут наклоняться ветки,
Первобытным ужасом хрустя.

Кто мы? Для чего мы и откуда —
Проволокой звезд обнесены?
Говорят, Тебе мы снятся, Будда,
Скверные Тебя тревожат сны.

Ты — подброшенная монета,
И гадают Дьявол и Бог
Над тобою, моя планета,
На какой упадешь ты бок.

Ты летишь! Ты попала в штопор,
Не раскрылся твой парашют.
Затрещала твоя Европа,
И портные твои не сошьют.

В торжествующем урагане
Голос Бога уже невесом.
Ты в космическом балагане
Стала чертовым колесом.

По тебе пробегают танки,
И пожар по тебе клубит,
И уже отдаленный ангел
Над тобой в вышине трубит.

Этот день — он настанет скоро!
И в последнем огне горя,
Разлетятся твои соборы,
Министерства и лагеря...

Но не слышит земная челядь,
Что уже распаялась ось:
Что-то мерит и что-то делит,
Что-то оптом и что-то врозь...

И молиться уже бесполезно,
Можно только кричать в небеса:
— Зашвырни нас куда-нибудь в бездну,
В бездну с чертова колеса!

Памяти дочери

Так ненужно, нелепо, случайно
Разлетаются дни, как пыльца.
Детский гроб и снега Алленштайна —
Вот чему не бывает конца.

Там в снегу, как в тумане, как в дыме,
Мы по улицам тесным идем.
Там короткое выжжено имя
На кресте раскаленным гвоздем.

Может быть, мы сидим и поныне
Там, в пустом неприглядном кафе,
И нам снится — мы где-то в Берлине,
Присужденные к аутодафе...

Пусть состаримся мы в Сингапуре,
Но со всех отдаленных окраин,
Через все океанские бури
Мы пробьемся к тебе, Алленштайн.

Наше место за столиком свято!
Ты продрогла, я тоже продрог;
Ты нам налил, трактирщик, когда-то
Этой смеси, похожей на грог...

Мы к тебе по дороге *оттуда*...
И расскажем мы, сидя в тепле,
Как мы наше короткое чудо
Незнакомой отдали земле.

Спят на фасаде даты.
 Перед фасадом щебень.
 Жил в этом доме когда-то
 Гофман фон Фаллерслэбен.

Тесная деревушка.
 Вывески крыты ржою.
 Снова судьба — кукушка
 Ткнула в гнездо чужое.

«Deutschland über alles»
 Кто-то вписал любовно
 Там, где в кирпич вплетались
 Выкрашенные бревна.

.....

Стремителен и придушен,
 По улицам и полям,
 От комнат и до конюшен
 Метался панцер-аларм.

Казалось, обвисли нервы,
 А он еще истязал!
 Встал на дороге первый
 Бронированный ихтиозавр.

Горячий, отяжелелый,
 Он грузно пополз по песку,
 Сверкая звездой белой
 На обожженном боку.

И мы, на него глаза,
Стояли ошеломлены
В этом страшном музее
Окончившейся войны.

Когда он пропал за сараем,
Ты, обратясь ко мне,
Сказала: «Давай погадаем
По надписи на броне!»

И как бы в ответ он прямо
Вырос из-под земли.
И мы прочли «Алабама»
И в сторону отошли.

От океанских закатов
До садика за углом
Он небо далеких штатов
Пронес над своим жерлом.

.....

Так же тускнеют даты.
Верно, убрали щебень.
Жил в том доме когда-то
Гофман фон Фаллерслебен.

А мы уже в сотом доме —
Маемся кое-как.
Нет для нас дома — кроме
Тебя, дощатый барак!

В какую трущобу канем?
Кто приберет к рукам?
Скоро ль конец гаданьям
По танкам и по штыкам?

И черт ли нам в Алабаме?
Что нам чужая трава?
Мы и в могильной яме
Мертвыми, злыми губами
Произнесем: «Москва».

От полустанка до полустанка
То водокачка, то вагонетка,
Полка, бутылка, консервная банка,
Поле да поле, да изредка ветка!

От разлуки до разлуки,
От судьбы и до судьбы
Взяли душу на поруки
Телеграфные столбы!

Телеграфные столбы —
Соглядатаи судьбы!

Ветер бредущим полетом
Бьет по спинам поездов
И поет, поет по нотам
Бесконечных проводов!

Пой на тысячу ладов,
Ветер нищих! Ветер вдов!

Строили да рухнуло,
Разлетелось в пух!
Бомбами из Мюнхена
Вышибали дух.

Славился музеями,
Впутался в бои!
Пулями осмеяны
Статуи твои.

Заново не выстроим,
Миру не вернем
Скошенное выстрелом,
Смятое огнем.

Памятник и госпиталь,
Церковь и приют.
И поныне к Господу
Камни вопиют.

И на небе вызаря
Ржавчину крестов,
Весь летишь ты к Изару
Броситься с мостов.

Я проходил по улицам чужим.
Из подворотен выплывала сырость.
И вот, как вечность неопровержим,
Крутой собор передо мною вырос.

Он говорил: ты наглухо прибит
К тяжелому, заплаканному миру.
Сойди на миг с твоих земных орбит,
Плыви со мной по звездному пунктиру!

Он делался всё выше и острей,
Он в небесах искал себе упора,
И я сгорал на каменном костре
В средневековом пламени собора.

А рядом содрогалась от стрельбы
Моей земли последняя дорога.
Мне в эту ночь клялись в садах дубы,
Что близок день, что мы увидим Бога.

Из Дагмар Ник

Дальше, дальше. Там ребенок. Брось.
Пусть кричит, он размозжен снарядом.
Как кулисы, ветер гнет фасады
Вкривь и вкось.

Кто-то руку взял мою рывком
И повлек, смятением объятый,
Лик его, как лист бумаги смятый,
Незнаком.

Может быть, и ты дрожишь впотьмах,
Всё отдав, за жизнь цепляясь эту?
А во мне почти и жизни нету.
Только страх.

Кто нам солгал, что умерла война?
Кто опознал ее среди усопших?
Еще по миру тащится она
И рядом с ней ее хромой сообщник.

Она идет за нами по пятам
И валит нам на головы руины,
И к пароходным тянутся бортам
Блуждающие в океанах мины.

Она лежит на дне сырого рва
В гранате, как в заржавленном конверте.
Не верьте ей! Она еще жива,
Жива еще, беременная смертью!

Украденную юность доконав,
Она и правду на земле задула.
Еще столетье будут из канав
Глядеть на нас зевающие дула!

О сколько раз еще из-за угла
Нас оглушат по черепу и ребрам,
Чтоб эти двое, глядя на тела,
Обменивались хохотом недобрым!

За то, что руку досужую
Не протянул к оружию,
За то, что до проволок Платтлинга
Не шел я дорогой ратника,
За то, что под флагом Андреевским
Не разнесло меня вдребезги, —
За это в глаза мне свалены
Всех городов развалины,
За это в глаза мне брошены
Все, кто войною скошены,
И вместо честной гибели
По капле кровь мою выпили
Тени тех самых виселиц,
Что над Москвою выселись.

Что останется? Ржавчина свалок,
Долгий голод, рассказы калек...
И подумают дети, что жалок
Был прославленный пулями век.

Что им скажут какие-то числа
Покоробленных временем дат
Там, где криво дощечка повисла
Над твоею могилой, солдат?

И никто не узнает, что душу
Ты отыскивал в черном бою,
Там, где бомба хрипела: «разрушу»,
Там, где пуля свистела: «убью»...

Где прошел ты, весь в дыме и пепле,
В дыме боя и пепле седин,
Там, где тысячи гибли и слепли,
Чтобы солнце увидел один...

Кому-то кто-то что-то доказал
И убедил кого-то кто-то в чем-то.
Стоит с пробитой крышею вокзал,
И всюду хаос Божьего экспромта.

Наказывай! Нас не прельщает рай,
Твой тихий рай, Твой остров голубиный!
На головы нам молнии роняй!
Тоги в морях! Гони нас в рай дубиной!

Во имя человеческой тоски
Мы отречемся от Твоей опеки,
Чтоб драться вновь за рыжие пески,
За облака, за голубые реки!

Сжигай дотла! Мы выдержим напор.
Гори, земля! Клянусь над пепелищем:
Мы первобытный каменный топор
В тысячелетних залежах отыщем!

Мы выстроим наш непутевый рай!
Наш дымный рай! Мы не хотим иного!
Останови! Разгневайся! Карай!
Нам по счетам выплачивать не ново!

Твоя цена не будет дорога.
Платили мы, и всё сполна заплатим
За наше право убивать врага
И другу отвечать рукопожатьем.

Тупик. И выход ни один
Из тупика еще не найден.
И так от детства до седин,
От первых до последних ссадин.

Бомбы истошный крик —
Аэродром в щёбень!
Подъемного крана клык
На привокзальном небе —

Ты, мое столетие!

Поле в рубцах дорог:
Танки прошли по полю.
Запертое в острог,
Рвущееся на волю —

Ты, мое столетие!

Ищущее конец,
Бьющееся в падучей,
Мученический венец
Проволоки колючей —

Ты, мое столетие!

Кручу за пядью пядь
Брали. И вот со склона
Ринувшееся вспять,
Все растеряв знамена,

Ты, мое столетие!

Брошенное на штык,
Дважды от крови ржавый,
Загнанное в тупик
Дьяволовой облавой —

Ты, мое столетие!

Царственные века
Были твоим подножьем.
Продано с молотка,
Выжжено гневом Божиим —

Ты, мое столетие!

Кости с тобою сложим!

Плоть от плоти твои,
Шиты твоим покроем.
Бурей своей пои!
Кровью своей напоим!

Верности клятву прими,
Ты, мое столетие!

Над ветлами, над ульями,
Над липами, над пчелами
Гудело утро пулями
Свинцовыми, тяжелыми.

Трещало автоматами,
Глушило минометами,
Кто прятался за хатами,
Кто жался под воротами,

А мертвые — кто во поле,
Кто брошены на отмели...
Прохвастали, прохлопали,
Чуть полстраны не отдали!

Родимые, да что ж это?
Никак земляца наша-то!
Вся жизнь на вобле прожита,
А пушек-то не нажито!

Была ж Россия мамонтом,
А не прошло полвеку-то —
Сожгли тебя! От сраму-то
Тебе деваться некуда!

Обрадовались, грабили,
А непокорны ежели,
Мужик ли это, баба ли —
На перекрестках вешали!

Как у своих-то перчено,
А у чужих-то солоно!

Как из огня теперича
Попали мы да в полымя!

Из-под кнута-то óтчего,
Да под дубину отчима!
Тот Соловками потчевал,
А этот смертью потчует!

Коль две скрестились гибели,
Какое сыщешь снадобье?
Одну мы гибель выбрали,
Коль выбирать уж надобно!

Пока не заткнули кляпом
Клокочущий рот, пока
Не выгнали в ночь этапом
Под окрики с броневика,

— Загнаны в загоны,
А все-таки живем! —
Пока, как в огонь, в вагоны
Не побросали живьем,

Пока не сбиты кучей
За проволокой колючей
И сыновья и дочери
Под пулеметные очереди —

Пока еще есть выход,
Выход и тьма выгод:
Стеклышком обыкновенным
(Только острой выточь!)
Раз полоснешь по венам —
И никаких выдач!

Лучше массой аморфной!
Назад отступать — куда ж?
Пока еще есть морфий,
Веревка, шестой этаж —

Пока еще не на слом,
Дышим еще покамест —
Гневу псалом!
Ненависти акафист!

ЗВЕЗДЫ

Моему отцу

Колыхались звездные кочевья.
Мы не засыпали у костра.
Шумные тяжелые деревья
Говорили с нами до утра.
Мне в ту ночь поэт седой и нищий
Небо распахнул над головой,
Точно сразу кто-то выбил днище
Топором из бочки вековой!
И в дыру обваливался космос,
Грузно опускался млечный мост,
Насмерть перепуганные сосны
Заблудились в суতোлке звезд.

— Вот они! Запомни их навеки!
То Господь бросает якоря!
Слушай, как рыдающие реки
Падают в зеленые моря!
Чтоб земные горести, как выпя,
Не кричали над твоей душой,
Эту вечность льющуюся выпей
Из ковша Медведицы Большой!
Как бы ты ни маялся и где бы
Ни был — ты у Бога на пиру...
Ангелы завидовали с неба
Нашему косматому костру.

За окном — круги фонарной ряби.
Браунинг направленный у лба.
На каком-то чертовом ухабе
Своротила в сторону судьба.
Рукописи, брошенные на пол.

Каждый листик — сердца черепок.
Письмена тибетские заляпал
Часового каменный сапог.
Как попало комнату забили,
Вышли. Ночь была уже седа.
В старом грузовом автомобиле
Увезли куда-то навсегда.

Ждем еще, но все нервнее курим,
Реже спим, и радуемся злей.
Это город тополей и тюрем,
Это город слез и тополей.
Ночь. За папиросой папироса,
Пепельница дыбится, как еж.
Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнею встаешь?
Или спишь, а поезд топчет версты
И тебя уносит в темноту...
Помнишь звезды? Мне уже и к звездам
Голову поднять не вмоготу.

Хлынь, война! Швырни под зубья танку,
Жерла орудийные тарашь!
Истаскало время наизнанку
Вечности принадлежащий плащ!

Этот поезд, крадущийся воров,
Эти подползающие пни...
Он скулил, как пес, под семафором,
Он боялся зажигать огни.
Чащами и насыпями заперт,
Выбелен панической луной,

Он тянулся медленно на запад,
Как к постели тянется больной.

В небе смерть. И след ее запутан.
И хлеща по небу на ура,
Взвили за шпицрутеном шпицрутен
С четырех сторон прожектора!
Но укрывшись тучею косматой,
Смерть уже свистит над головой!
Смерть уже от лопасти крылатой
Падает на землю по кривой.
...Полночь, навалившаяся с тыла,
Не застала в небе и следа.
Впереди величественно стыла
К рельсам примерзавшая звезда.

Мы живем, зажатые стенами
В черные берлинские дворы.
Вечерами дьяволы над нами
Выбивают пыльные ковры.
Чей-то вздох из глубины подвала:
— Господи, услышим ли отбой?
Как тогда мне их недоставало,
Этих звезд, завещанных тобой!

Сколько раз я звал тебя на помощь —
Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь?
Мертвые не помнят ни о чем.

Ну, а звезды. Наши звезды помнишь?
Нас от звезд загнали в погреб.
Нас судьба ударила наотмашь,

Нас с тобою сбила с ног судьба!
Наше небо стало небом черным,
Наше небо разорвал снаряд.
Наши звезды выдернуты с корнем,
Наши звезды больше не горят.
В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь!

Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не подыдем,
Потому что знаем: неба нет.

Родина! Мы виделись так мало,
И расстались. Ветер был широк,
И дорогу песня обнимала —
Верная союзница дорог.

Разве можно в землю не влюбиться,
В уходящую из-под колес?
Даже ивы, как самоубийцы,
С насыпей бросались под откос!

Долго так не выпускали ивы,
Подставляя под колеса плоть.
Мы вернемся, если будем живы,
Если к дому приведет Господь.

По стенам комнатухи разбросаны
Наших кленов последние письма.
Это всё, что осталось от осени,
Это всё, чем к зиме запаслись мы.

С той поры, как с тобой мы подхвачены
Этим роем, по миру носимым, —
Мы привыкли готовиться начерно
И к разлукам, и к бедам, и к зимам.

Что с того, что мы делаем промахи?
Вся-то жизнь, что ни день — то и промах.
Где-то в мире раскиданы холмики
И родных, и друзей, и знакомых.

За какими озерами синими,
Под каким неисхоженным кряжем,
Под какими крестами без имени
На разлуку последнюю ляжем?

Слушай, Господи! Жизнь уже порвана.
Одари хоть когда-нибудь щедро.
Раздели между нами Ты поровну
Эти два с половиною метра!

Снова Муза моя взаперти.
А просил я ее о немногом.
Хоть подкову на счастье найти
И прибить у себя над порогом.

На деревьях плоды вороша,
Наливается соками август.
И, как плод, тяжелеет душа,
И молчанье становится в тягость.

Эту плотную ночь расколоть
Может только певучее слово.
На земле человеку Господь
Утешения не дал иного.

Вячеславу Завалишину

Уже закаты буйствуют по кленам,
Уже дрожит святая гладь чернил,
И сердца предосенние знамена
Необоримый ветер накренил.

И сердце снова выдумками бредит,
Но день пройдет, как проходили все,
И тот же самый грузовик проедет
По асфальтированному шоссе...

Оставлю дом. Стучаться буду в сотни
Чужих дверей, но дома не найду,
И где-то в самой грязной подворотне
Мне суждено споткнуться о звезду.

Мой скудный мир! Он обернется щедрым,
И станет на мгновение видна
Береза, захлебнувшаяся ветром,
Возникшая из черного вина.

И в память мне листвою она ворвется,
И детством, и оконцем, и крыльцом,
И крышей, и бревенчатым колодцем,
И матери исплаканным лицом.

И прошумит родительским порогом:
— Мой бедный сын! Тебя зовут сады.
Мой бедный сын, идущий по дорогам,
Оставленный на произвол звезды!

Не страшен эшафот. Позорный столб не страшен,
 Ни гибель на костре, ни смерть на колесе,
 Когда колокола оповещают с башен,
 Когда на площади тебя увидят все.

Пусть кони хмурые волочат к месту казни,
 И стража по бокам, и взведены курки.
 Подскакивай, фургон, и в колее завязни!
 Смыкайтесь, улицы, в сплошные тупики!

Еще милей дома. Заря еще огромней,
 Все подоконники наводнены людьми.
 Ты, липа встречная, приветствуй и запомни.
 Во славу смертника, столетняя, шуми.

Твой дьявольский кортеж, твой сумасшедший выезд,
 С помоста брошенное зрителям *bon mot* —
 На этих зданиях, на этих лицах выест
 Неизгладимое и гневное клеймо.

Что ты не оценил, — мы за тебя оценим.
 Теперь любой из нас легко бы жизнь отдал,
 Чтоб умереть, как ты, — поднявшись по ступеням.

.....

Мы — те, кто умирать спускается в подвал.

Борису Нарциссову

Видно, дела плохи
Великолепной эпохи:
Полицейские атташе
При каждой живой душе.

А ведь была ж когда-то
Без кляпа во рту душа
У обезьяны мохнатой,
Вышедшей из шалаша,

Прислушивающейся к дебрям,
Таящейся у корчаг,
В единоборстве с вепром
Отстаивающей очаг!

А ведь была ж обида
У глядящего из-под лба,
Воздвигавшего пирамиды
Египетского раба!

И вера была — знамя!
Раскольничий поп с костра
Просовывал сквозь пламя
Мятежные два перста!

Пел — на костре скорчась!
Слушай — сегодняшний, ты!
Где же твоя гордость?
Где же твои персты?

Луна огибает барак.
Какого-то сна отголосок
Донесся из груди коряг,
Из черного штабеля досок.

То ночь занялась грабежом,
И я уже вижу и слышу,
Как длинным зеленым ножом
Луна перерезала крышу.

Ты вынырнешь из-за угла
И грязь этих улочек выдашь.
Куда тебя ночь завела?
Ты плачешь, небесный подкидыш!

Ты тянешь алмаз по стеклу
И близишься всё вороватей,
И чертишь на голом полу
Тоску двухэтажных кроватей.

Ну что, разглядела вблизи?
Теперь убирайся за сосны!
Оттуда сквози. Погрузи
Навеки в раствор купоросный.

Как хочешь меня озирай.
Но только, ты слышишь, не сетуй!
Мне домом не этот сарай,
И ночью дышу я не этой.

Не надо их. Оставь. Они жестоки.
В иные дни перо переноси.
Переночуем во Владивостоке,
В одном из дивных тупиков Руси.

Представим так: Абрекская. Пригорок.
Сметает ветер осеннюю труху.
Ах, почему так мил мне и так дорог
Домишко, выстроенный наверху?

В нем каждый камень выложен был дедом.
Он с давних пор принадлежал отцу.
Открытый настежь всем ветрам и бедам
И нищете, как верному жильцу.

Что помню я? Те впечатленья давни, —
И всё, что память наскрести могла,
Так это шум от падающей ставни
И вдребезги разбитого стекла.

Да вот еще отчетливы доселе
Стихами испещренные шелка.
Как будто бы вчера они висели,
Причудливо стекая с потолка.

Воспоминанья пятнами из глуби:
То пропадут, то вымелькнут еще.
А вот отец в заиндевелой шубе
С огромной елкою через плечо.

Но незачем насиловать нам память,
И разбивать о достоверность лоб.

И время нам дано переупрямить,
Вообразив, как течь оно могло б.

Оно текло вразвалку, по-цыгански,
Не ведая, где приклонить главу.
Однажды месяц тихоокеанский
Со мной ушел на дальнюю Неву.

Мне девять лет. Я только что с перрона.
Я в первый раз на даче под Москвой.
Взлетевшая на каланчу ворона
Мне кажется огромною совой.

И месяц левитановский над стогом
Так робок, что не движется почти.
Он сам не знает, по каким дорогам
Ему придется в эту ночь идти.

— Ты видишь тракт? По нем когда-то с юга
Татары приходили на Москву. —
Я слушаю и жмурюсь от испуга,
К отцовскому прижавшись рукаву.

Я помню ночь. Так каждый мальчик помнит
Свой первый сон под новым потолком.
Всю эту крышу с полутьмою комнат
Сад облегал густым воротником.

Там света не было. И в щели дуло.
Всю ночь поскрипывал дверной запор.
Отец, ложась, к высокой спинке стула
На всякий случай прислонил топор.

Я всё не спал. Всё слышал крик татарский.
Там шла орда, повозки волоча.
А месяц плащ брильянтовый по-царски
Дарил земле со своего плеча.

Как пристань отдалена!
Куда нас ветер забросил?
Расплавленная луна
По капле стекает с весел.

То — через волны — вперед,
То — между волн — в коридоре:
Это вразвалку идет
Широкоплечее море.

Ветер! Волною завесь
Лодку! Вали ее на бок!
Кира, ты слышишь, я весь
Снова у губ твоих слабых?

Татарка моя! У тебя
Вишня запуталась в челке.
Мы уплываем, гребя,
Веслами раздробя
Эту луну на осколки.

Так же звезды барахтались в озере,
Был и месяц — такой же точь-в-точь.
Разметала последние козыри
Перед нами любовная ночь.

Если б знать, что дано нам выгореть,
Что любовь уплывет на плоту,
Что у дома простая изгородь
Проведет между нами черту,

Что дорога разлук неминуема,
Что она уже рядом легла.
Я убил бы тебя поцелуями,
Я бы сжег наше детство дотла.

Я уже по-иному слышу,
По-иному глаза сильны.
Эта ночь раскроила крышу
Оловянным кастетом луны.

...А, быть может, ты рядом, Лида?
Из окна мне записку брось.
Мы, как линии у Эвклида,
Параллельные, вечно врозь...

Беспорядок мыслей бессонных,
Нет с ночами лунными сладу.
...Всё гуляет береза в кальсонах,
Как сумасшедший по саду.

Ты разгребаешь пальцами тоску
И, наконец, разламываешь губы,
И сваливаешь грузную строку,
Как сваливают сосны лесорубы.

Не тронь ее: еще ей небо снится.
И топором не обрубай мечты!
Уже плывут куда-то по странице
Твоих стихов веселые плоты!

Пусть критики цепляются за сучья
И где-то пишут умные слова!
Есть у поэтов глупые созвучья,
Которым всё на свете — трын-трава!

Пусть ополчатся на твои стихи!
Их ремесло — пилить пилой тупою
За то, что не нанялся в пастухи,
Которые их гонят к водопою.

Будет холод в забытой квартире.
Будут лаять дворовые псы.
Кто-то бросит последние гири
На мои золотые весы.

И о землю ударится чашка,
Утомленная чашка весов.
И меня молчаливо и тяжело
Перекроет могильный засов.

И подыметя чашка вторая,
Всю земную прорвав шелуху.
Я не знаю, дойдет ли до рая,
Только знаю, что будет вверху.

Мы плыли вдоль улиц
(Мой дом, мой ковчег),
А к ночи наткнулись
На звезды и снег.
Мы здесь заночуем,
Здесь окна горды
Ночным поцелуем
Полярной звезды.
И куст, что от дома
За день отнесло,
До боли знакомо
Задел о стекло.
Дорога дневная
Шумна и пуста,
И всё, что я знаю, —
Доплыть до куста.
Всё, всё, что я знаю
О дне прожитом, —
Всё — только дневная
Разлука с кустом.

Ночь руками вцепилась в снег.
Ночь готовится к трудным родам.

.....

С новым сыном, двадцатый век!
Современники, с Новым Годом!
Где вчера было сорок семь,
Уже выбито сорок восемь.
Слышишь, Господи, — миром всем
За младенца Тебя мы просим.
Видишь, Боже, — пустился вплавь
Новорожденный Твой Титаник...
Капитана к нему приставь,
А не пять бестолковых нянек.
Прогони их с Твоей земли,
Тех, кто правит планетой, спятив.
Чтоб младенца не извели,
Как замучили старших братьев...
Дай святого в учителя.
О твоём милосердном чуде
Слышишь, — молится вся земля,
И деревья, и снег, и люди.
Не о счастье, — отвыкли совсем...
Мы Тебя о покое просим.

.....

Где вчера было сорок семь,
Уже высится сорок восемь.

Спичка — девочке с косичками,
Спичка — женщине шальной.
Сердце — коробок со спичками —
Разошелся по одной.

Израсходовался дочиста,
Разлетелся задарма.
Так что, если очень хочется,
Разжигай меня сама.

Что стоишь ты в стороне?
Что ты смотришь в сторону?
Обо всем поведай мне,
Всё разделим поровну...

Знать, последняя весна
И тебя состарила...
Вот уже и седина
По вискам ударила.

Как тебя я уводил,
От людей выкрадывал —
Ветерок не находил,
Месяц не подглядывал!..

Что стоишь ты в стороне?
Что ты смотришь в сторону?
Обо всем поведай мне,
Всё разделим поровну...

Когда-нибудь и я столкнусь вплотную
Или завизжу мельком в стороне,
Но не открою, а, как все, миную
Таинственную дверь в стене.

Так гомон переулков надоедлив
И так обычен этих зданий ряд,
Что мы проходим, шага не замедлив,
И стены с нами не заговорят.

Потом тоскуй, и сожалея, и сетуй —
Ты только время потеряешь зря:
Ни двери этой, ни щеколды этой
Ты не отыщешь в травах пустыря.

Ты никогда не возместишь потери
И до конца останешься смятен,
И будешь всё выпрашивать о двери
У равнодушных, безответных стен.

Переулок. Ограда. Фонарь.
Мотоциклы. Трамваи. Киоски.
И опять богатырь, как и встарь,
На высоком стоит перекрестке.

Кто-то строит и рушит жильё.
Чьи-то танки ползут по посевам.
Что ни год — тяжелеет копье,
Наливается горем и гневом.

Только вот супротивника нет,
И померяться силами не с кем
В этом мире смертельных ракет,
Что горят металлическим блеском.

Пусть Тугарин явился б, как встарь,
Показать свой разбойничий нор...
Хоть и погань, а все-таки тварь,
А не смрадная кухня моторов!

Не топтать же конем саранчу:
Всю не вытоптать, сколько ни рыскай...
В мире зла нет и зла по плечу,
Чтобы ринуться в бой богатырский!

Не тупить же честного меча
О скелетики выроdkов хилых!
О, не кровь в этих жилах — моча
В этих гнилью пропитанных жилах!

Переулок. Ограда. Фонарь.
Мотоциклы. Трамваи. Киоски.
И стоит богатырь, как и встарь,
На высоком своем перекрестке.

Когда земля, вся в судорогах, ухнет
Последней ночью в свой последний век,
Когда звезда последняя потухнет —
Останется последний человек.

Он будет полудухом-полупрахом
Бежать сквозь одиночество и страх...
Таким же одиночеством и страхом
Я сжат сегодня в четырех стенах.

Нас раскидало по волнам,
По разным пристаням рассея...
И долго будет небо нам
Железным небом Одиссея.

И океан под нами смят,
И гибнуть нам, как древним грекам...
Как боги хаоса шумят
Над концентрационным веком!

Мы вновь у них перед судом,
Мы — к ним попавшие в немилость,
С тех пор, как в наш высокий дом
Их злая молния вломилась.

Навалило сугроб на полметра.
Ветер валит людей на дворе.
Только этого чертова ветра
Не хватало нам в этой дыре!

Вышел. Лужа у дома под струпом.
Оглянулся — и ветер мне мил:
Своротил он и радиорупор,
И газетный киоск проломил!

Ветер, рви на заборе афишу!
Заметай всё кругом на версту!
Никакой ерунды не услышу,
Никакой чепухи не прочту...

Точно родник,
Весь небосклон
Дивно глубок.
Осень, тебя пьем.

Видишь — возник
Гибельный клен,
Раненный в бок
Солнечным копьем.

Страстию лик
Твой опален.
Этот клубок
Рвем — не разорвем.

Видишь — возник
Гибельный клен,
Раненный в бок
Солнечным копьем.

В смерть напрямик
С самых пелен
Гонит нас Бог.
Все скоро уснем.

Видишь — возник
Гибельный клен,
Раненный в бок
Солнечным копьем.

Сразу же за гаражем
И далее к мастерским —
Закат расстилался пляжем,
А небо — заливом морским.

Там осень гуляла Крезом,
А у нее за плечом —
Мешок со ржавым железом
И ломаным кирпичом.

Поэты за эту рухлядь
Кровью платили парной,
Пока в садах не потухли
Березы все до одной.

Поэты, кланяясь кленам,
Стояли по всем углам,
Кланялись, как обновленным
Кланяются куполам...

Но изорвалась в дырки
Вся эта мишура,
И осень, как рыжий в цирке,
Шлепнулась у ковра.

Только вверху, напоследок,
Целуя тебя, высота,
Бьются меж голых веток
Последние два листа.

Но с трапеции-ветки
Рухнут в небытие
Работающие без сетки
Сердца — твое и мое!

Там так же медленно краснеет верба
И за прудами топчется табун.
А за деревней океаны хлеба —
Хозяйничает золотой зыбун
От низких крыш до побережья неба.

Там домик на окраине пустой,
Похожий на забытого уродца.
И, невысоким солнцем залитой,
Там куст сирени у забора жметя,
И слышен скрип соседнего колодца.

Вот памяти последние гроши!
А может быть — обсчитан я жестоко
И не были те годы хороши?
Но там я в детстве строил шалаши.
Я помню вкус березового сока.

Еще спешить по чуждым мостовым,
Еще наскучит не одна столица...
Но только б помнить этот дом живым!
Пускай он перед смертью мне приснится,
Мой детский дом с моим окном кривым.

ГОЛОСА С ЛУНЫ

За века обмелело небо,
Всё труднее Луны поворот.
Одноглазый товарищ! Где бы
Перейти это небо вброд?

Мы пройдем по горящим весям,
По земной золотой пыли,
На веселых звездах развесим
Изумрудную шкуру Земли.

Пусть засохнет! Пускай не грабит
Оскудевшего Солнца лучи.
Слишком сочны земные хляби
Для двуногой земной саранчи.

Уже видны рек коридоры
И массивы горных пород...
Одноглазый товарищ! Скоро
Перейдем это небо вброд.

Это смертью звалось. До того
Я не знал ее всех замашек.
Сразу стало много всего, —
Сколько лишних подушек и чашек.

Где искать за последней стеной?
Что, когда не найду и миную?
Смерть писала — куда, в накладной.
Кто прочтет ее накладную?

Одинаково далеко
И до ада идти, и до рая.
Словно грязное молоко,
На могиле земля сырая.

Дневных лучей осеннее литье
Торжественно ушло в небытие.

Торжественное небо надо мной
Поблескивает звездной сединой.

И слушают дорога и трава
Моей молитвы тихие слова.

Ты, Господи, оставил нас в огне,
Ты два тысячелетия — в стороне,

А мы от века до конца — плати
За исповедимые пути.

Немногого прошу я — только дня,
Дня для земли без крови и огня,

Дня отдыха. Но только в этот день
Своей рукою солнце нам воздень,

И, может быть, тогда припомним мы
О Солнце Рая...

Моста электрический остов
Повис вдалеке над рекой,
И месяц, как гневный апостроф,
Поставлен Господней рукой.

От волн, от огней, от гранита
Скорей бы куда-нибудь прочь!..
Вся вечность враждебно открыта,
Как книга в бессонную ночь...

Сверкают ресторанные хлеба
Копеечным, заученным весельем.
Я прав, что я один. И ты права,
Что эту ночь с тобою мы не делим!

И я, в моей кромешной маете,
И ты, в своем скитании бессонном —
Медведицу отыщем в высоте,
Заломленную гневно над Гудзоном.

Мы правы, друг от друга отстранясь,
Упившись каждый собственной мукой.
Что может быть сильнее, чем эта связь,
Пронизанная звездною разлукой?

И воробей на фонаре,
И набережная с закатами,
И размышленья о добре,
О смерти, о любви, о фатуме,
Вся жизнь с вопросами проклятыми,
Всё, всё поместится в тире,
Поставленное между датами...

Как ночь эта памятна
Тревожным гудком,
Походкою мамонта,
Лунным клыком!

Мой город испуганный,
Мой каменный друг,
Мой город обугленный
Толпился вокруг...

Он всеми заставами
Шел на вокзал,
Он домом оставленным
На рельсы сползал.

Он грозно ощеривал
В небе столбы,
Он каждое дерево
Рвал на дыбы!

Мне путь загораживал
Каменный вал.
Город мой заживо
Меня отпевал.

Смерть? Погибель? Конец? Неправда!
Кто упал? Обессилел кто?
Знаю я: не сегодня, так завтра,
А не завтра, так через сто,

Через двести лет, через триста —
(В смерти верить не перестаю!)
На земле моей будет чисто,
Бог умоет землю мою.

ОТСВЕТЫ НОЧНЫЕ

Напротив, на стене, мои соседи
Висят в тяжелых рамах под стеклом.
Вот женщина задумчивая, в плече,
А вот студент за письменным столом.
Поодаль две скучающих девицы
Бессмысленно в стекло уткнулись лбом.
И через год мой каменный альбом
Открою я на этой же странице.

Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома,
Ни тополя. Но вдруг над головой
Я ощутил присутствие объема,
Что комнату звался угловой.

В пустом пространстве делая отметки,
Я мысленно ее воссоздаю:
Здесь дом стоял, и тополь был, и ветки
Протягивались в комнату мою.

Вот там, вверху, скрипела половица
И лампа вбок была наклонена,
И вот сейчас выпархивает птица
Сквозь пустоту тогдашнего окна.

Прошли года, но мир пространства крепок,
И у пространства память так свежа,
Как будто там, вверху, воздушный слепок
Пропавшего навеки этажа.

Здесь новый дом построят непременно,
И, может быть, посадят тополь тут,
Но заново отстроенные стены
С моими стенами не совпадут.

Ничто не знает в мире постоянства,
У времени обрублены концы, ·
Есть только ширь бессмертного пространства,
Где мы и камни — смертные жильцы.

Снова дождь затеял стирку
Крыш, деревьев, кирпичей.
Дни ложатся под кофирку
Антрацитовых ночей.

А во сне — в ночном походе, —
На путях каких — Бог весть,
День наш в сонном переводе
Мы пытаемся прочесть.

Ночью каменноугольной,
Ночью грузной и большой,
Пробираясь, точно штольной,
Нашей узкою душой.

Там в скитаньях непрерывных
На мгновенье зажжены
На мятущихся экранах
Зашифрованные сны.

Все удачи, все печали,
Всё, что было позади,
Всё, что за день настучали
Ундервуды и дожди.

Но рассвет, войдя в квартиру,
Выхватит издалека,
Возвратит дневному миру,
Сны срывая по пунктиру
Телефонного звонка.

Комары толклись у водоема,
Где-то птица крикнула в листве,
И закат прошел, как Монтигомо,
Перья пронося на голове.

Уходя по золотым канавкам,
С темнотой еще ведя войну,
Запустил он в небо томагавком
Мстительно блеснувшую луну.

И когда, стеной ночью заперт,
Он замел последние следы,
Вместе с ним ушли на Дальний Запад
Краснокожей осени сады.

Мне не знакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается доньше,
Когда в душе становится темно —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

Отпускаю в дорогу, с Богом!
Отдаю тебя всем дорогам,
Всем обманывающим и сулящим,
По которым мы жизни тащим.
Отдаю и реке, и саду,
И скамье, где с тобой не сяду,
И кусту отдаю, и оврагу,
И траве, где с тобой не лягу,
И предутреннему перрону,
Где, прощаясь, тебя не трону.

Отдаю всем заливам синим,
Где мы в воду камней не кинем,
Всем перилам и всем оградам,
Где с тобой не застынем рядом.

Отпускаю в дорогу с Богом!
Отдаю тебя всем дорогам,
Всем тревожным привалам нашим,
На которых свистим и пляшем,
На которых поем и плачем...
Всем удачам и неудачам.

Отдаю тебя на поруки
Ветру, счастью, дождю, разлуке —
Тем, что будут с тобой повсюду
Там, где я никогда не буду.
Отдаю тебя службам жадным,
Лифтам, лестницам и парадным,
Коридорам и кабинетам,
Разговорам, кивкам, газетам.

Папкам, подписям и печатям.
Так мы порознь жизнь растратим
За казенным и за поденным
Сумасшествием телефонным.
За столами и за дверями
С именами и номерами...

Отдаю тебя всем соблазнам,
Встречам легким, веселым, праздным,
И печальным горячим встречам
В час, когда защититься нечем.

Вселенная! Так вот твоя изнанка!..
Едва рванули ткань твою по шву —
И поднялась гигантская поганка
Откуда-то из ада в синеву.

И зарево ударило по тучам,
Полгорода внизу испепеля.
Так вот каким заправлена горючим
Несущаяся в космосе земля.

Еще в поту мы эту землю пашем,
Еще и воздух не отравлен весь,
Но с той поры грохочет в сердце нашем
Тоски и гнева взрывчатая смесь.

ИЗ УГЛОВОГО ОКНА

Внизу, в пространстве, осажденном
Домами с четырех сторон,
Неслись пожарные со звоном
И заворачивал фургон.

Там люди толпами спешили,
И в узком уличном плену
Ползли гуськом автомобили,
Как аллигаторы по дну.

И там, в автомобильном гуде,
Там, в разноликой суете,
Пространство распинали люди
На этом уличном кресте.

И одержим каким-то трансом,
Я услышал в секунду ту,
Как изможденное пространство
Оплакивало пустоту.

Дождь бежал по улице на цыпочках,
Дождь бежал то тише, то слышней,
Дождь бежал, асфальт вечерний выпачкав
Масляными красками огней.

Под ногами, точно в черном озере,
Светофора вспыхивал рубин.
Отсветы неоновые ерзали
В темноте асфальтовых глубин.

Точно все огни земные плакали
В бесконечных прорезях дождя.
Ночь под землю уносила факелы,
Улицы с собою уводя.

Вот он, город мой неузнаваемый,
Город каменной моей судьбы,
Под тобой оранжевыми сваями
Световые движутся столбы.

Я и сам о том уже не ведаю,
Что ищу я в шуме городском,
За какими отсветами следую
И в пространстве двигаюсь каком.

Я уже не ощущаю хлесткости
Наискось летящего дождя.
Где-то рядом, в вертикальной плоскости,
Плоский сам, проскальзываю я.

Может быть, из всех объемов вынутый,
В измереньях двигаясь иных,
Я теку, в асфальте опрокинутый,
Отсвет — среди отсветов ночных.

Небоскребы упрятались в марево.
Зажигали огни самолеты.
В отдалении сумрак вымарывал
Городского пейзажа длинноты.

Понемногу окрестности вызаря
Из какой-то заоблачной зыби,
Как угарный экран телевизора,
Задымилась луна на отшибе.

И опять, не звана и не прошена,
Тень моя обозначилась рядом,
И скользит удлиненно и скошенно
По ночным мостовым и фасадам.

Тень моя, отщепенцем ты кажешься
Между грузной стеной и цистерной,
В этом мире объема и тяжести
Что ты делаешь, призрак двумерный?

Я и сам, обтекаемо-выгнутый,
Закругленный и мягкий в овале,
Как попал я сюда, где воздвигнуты
Эти каменные вертикали?

Эти кубы, параллелепипеды,
И углы, и бетонные плиты!
Тень! С тобой из орбиты мы выбиты,
Тень! В чужую орбиту мы вбиты.

Тень! Нам кто-то с тобой позавидовал,
Нам, которые криво летели.
Нас втолкнули в темницу Эвклидову,
За решетки прямых параллелей.

Пробегают такси по соседнему парку,
И рекламная осень пестра и шумна.
Пролетающий лист, как почтовую марку,
Ветер лепит с размаху на угол окна.

Я не думал о вас. Ваше русское имя
На туманном стекле написалось само.
Я и осень моя со стихами моими
С этих пор адресованы вам, как письмо.

Нежность, видно, родилась заикой —
Ей слова даются тяжело.
Ей бы медвежонком в чаше дикой
На заре обнюхивать дупло.

Ей бы грызть заостренный и горький
Лист брусничный, да лежать во мху,
Слушая, как ветер на пригорке
Треплет тонкоствольную ольху.

А ее просили сесть в гостиной,
И была хозяйка с ней мила,
Оттого, что нежность чинно-чинно,
Очень хорошо себя вела.

Столь необычайное смиренье
Даже озадачило кота:
Кот изобразил недоуменье
Знаком вопросительным хвоста.

Кот нашел, по-видимому, странным
То, что нежность так себя ведет:
Кот в любви был старым ветераном,
Помнил, что такое нежность, кот.

Знал, что не унять ее томлений,
И умел он на своем веку
Ткнуться мордой в милые колени,
Ухом почесаться о щеку.

Исчезают, как в водовороте,
Выплески однообразных дней.
Вы, наверно, так и не придете
На свиданье с нежностью моей.

Не скучно ли на темной дороге?

А.Грин

Всю ночь мигает вывеской отель,
И дождь шуршит в камнях и железе.
Я понял всё. Вы — Биче Сениэль,
А я искал смеющуюся Дэзи.

Мой мир для вас был темною стеной,
А мне сказать хотелось вам так много,
И думал я, что вам вдвоем со мной
Не будет скучной темная дорога.

ЧЕРНОВИК

Что такое зыбь?

Мелким почерком ветер писал по воде.

Что такое зыбь?

Промчался ветер, в травах просвистя,
И заводь зябко сжалась от испуга.

Ты — судорог и сумерек дитя —
Вечерняя озерная кольчуга.

Что такое зыбь?

И вдруг мне показалось, что вода
Несет гигантских пальцев отпечатки.

О, это дело рук Твоих, Господь.
Ты уличен. Ты создал этот мир.

СКРИПАЧ

Звуки тончайшей выточки
Соскальзывали с плеча,
Как будто тянул он ниточки
Из солнечного луча.

Лежала на скрипке щека еще,
Дрожала еще рука,
И звук всплывал утопающий
За соломинкою смычка.

И ноту почти паутинную
Он так осторожно сужал,
Что скрипка казалась миною,
Которую он разряжал.

Еще рассвет. Еще туманный хаос.
Еще, передрассветно колыхаясь,
Деревья — еле видимые — в дымке
Похожи на рентгеновские снимки.
Еще рассвет. Но из туманных грядок
Весь город выпадает, как осадок.
Выходят, как из мутного раствора,
И памятник, и выступы собора.
И дом обозначается за домом,
Чтоб стать на небе каменным изломом,
Чтоб стать на небе четкой и упрямой
Извечной городской кардиограммой.

Над мальчишкой крепким и румяным
На скамейке суетится мать.
Вырастет и станет хулиганом,
Будет грабить, жечь и убивать.

А быть может (колесом раздавлен!),
Мальчуган поселится в раю,
Будет Богом в ангелы поставлен,
Чтобы жизнь замаливать мою.

Я это молчание выбил, как пробку,
И залил бумагу лиловым вином...
Веселого месяца тонкую скобку
Повешу над самым высоким окном!

И только рукою взмахну я надменно,
И город столпится у этой реки, —
Смотри — на балконах стоят джентльмены
И к звездам бросают свои котелки!

И небо прожектором залито синим,
И, кажется мне, я по крышам иду.
Какая-то женщина в платье павлиньем
По небу ночному летит, как по льду!

И рвутся ракеты, и гаснет каскадом
За красной струей золотая струя...
Ну что ж, ты довольна своим маскарадом,
Ответь мне, бессонная совесть моя?

Мы все столкнуться с тобой не умеем,
Я спорил с тобою до боли в висках,
Водил по театрам, таскал по музеям
И скрипками мучил в ночных кабаках!

Мне все в этом мире казалось забавой,
Зачем же, и мир от меня заслоня,
Прощальные слезы ирландки картавой,
Как капельки лавы, сжигают меня.

Пятнадцать тысяч ночей
Меня приходили проведать,
И всё до последней звезды
Они приносили мне.

Пятнадцать тысяч ночей —
Земное богатство мое.
Хочешь, тебе отдам
Всё до последней звезды?

Вот черного мрамора ночь
В белых прожилках звезд, —
Ты выстроишь из нее
Сонные города.

А хочешь вокзальную ночь,
Железнодорожную ночь,
Забившую в прорезь моста
Заклепанный болт луны?

Возьми океанскую ночь,
Ночь плавающих звезд,
Ночь шатких, черных зеркал,
Вздохов соленых ночь.

Я дам тебе белую ночь
В городе над Невой.
И ты ощутишь звезду,
Как ощущают укол.

Есть еще у меня
Ночи — ты их не тронь —

Ночи, когда я хотел
Понять, что такое смерть.

Такие ночи темней
Каменноугольных шахт.

Снова смерть дала мне повод
Убедиться и понять,
Что земную жизнь, как провод,
Надо где-то заземлять.

Слишком много было молний,
Ударяющих в пути,
В глубь кладбищенских безмолвий
Надо молниям уйти.

И очистившись от гнева,
Наконец смирясь во всем,
Мы сверкающее небо
В гроб с собою унесем.

Хлопочет сердце где-то в глубине.
Как моль в шкафу, оно живет во мне.

От жизни, как от старого сукна,
Осталась только видимость одна.

Всё перетлело, чтобы жить могло
Заносчивое маленькое зло.

Сколачивали тучи в складчину
В горах вечернюю грозу,
Весь потемневший и взлохмаченный,
Лес беспокоился внизу.

И там, где камни наворочены,
Там, над дорогой кривой,
Осины сбились у обочины,
Тряся испуганной листвою.

По небу отсветами плещется
Жар-птицы молнии перо.
Пошло трещать, земля-помещица,
Твое зеленое добро!

И над бобровою запрудой,
Ворвавшись в мертвый бурелом,
Как будто палицей орудуя,
Прошел многоэтажный гром!

И вновь, вверху, собравшись с силами,
По тучам с грохотом полез,
И наконец, ударив, выломил
Ворота всех семи небес.

И сразу, через все пробоины,
Сверкая, зыблясь и галдя,
Пошли, колоннами построены,
Косые полчища дождя.

ИЗ РИЛЬКЕ

Всё это там, где крайний ряд лачуг
И новые дома, что узкогрудо
И робко выступают из-под спуда
Лесов, чтоб видеть, где начнется луг.

Весна всегда там теплится чуть-чуть,
В бреду подходит лето к этим доскам,
Неможется деревьям и подросткам,
И осень лишь повеет чем-нибудь

Далеким, примиряющим: зарю
Там нежно плавит вечер на равнине,
И брезжит стадо, и пастух в овчине
К последнему прижался фонарю.

Деревца горят в оконных рамах,
Как пирамидальные костры.
В застекленных параллелограммах
Блещут свечи, бусы и шары.

Посмотри, вверху над небоскребом
Встала Вифлеемская звезда.
Даже небо кажется особым,
Сделанным из голубого льда.

Мы пойдем бродить с тобой без толку
За веселой цепью огоньков,
Всю тебя осыплю я, как елку,
Золотым дождем моих стихов.

Вот он снежный, уличный, старинный,
Радостный рождественский уют.
И витрин высокие каминьки
Заревом прохожих обдают.

Вот и ты застыла изумленно,
Бронзовым окном поражена,
Точно там не звери из нейлона,
А блистает клад с морского дна.

Закипает вечер снегопадом,
Светятся снежинки на бегу.
У окна стоят с тобою рядом
Ангелы босые на снегу.

В горячей и пыльной столице
Ты книгу Толстого открой.
И вдруг с типографской страницы
Запахнет землю сырой.

Как будто проходим мы лугом,
Как будто мы полем идем,
Как будто он вспахивал плугом
Вот этих страниц чернозем.

Бродильные крепкие соки,
Пахучие соки земли,
Вот в эти толстовские строки
Тяжелым составом вошли.

Пускай они кажутся грубы,
Но плотно друг в друга войдя,
Сколочены фразы, как срубы
Одним топором без гвоздя.

Толстому ль вколачивать ровно
Искусства заржавленный гвоздь.
Он слов непокорные бревна
С размаху сбивал на авось.

Героя по-своему строя,
С него он соскабливал грим,
Что толку в типичном герое,
Он должен быть неповторим.

Зачем приукрашенность Анне,
Наташе к чему ореол?
Толстой их не вывел в романе,
А просто на землю привел.

НЕБО

I

Я знаю, что неба не хватит.

Немного

у неба

осталось

времени.

Потомки

какой-нибудь паклей

законопатят

Прорву космической темени.

Еще я небо в живых застал!

У меня еще

место

в звездном театре.

Быть может, остались еще места

Всего поколения на два,

на три.

Мне уже

на земле

не хватило земли.

Был я

едва подростком,

Когда землю

с обеих сторон

от меня отсекли,

Оставив

узкой дороги полоску.

Ничего у меня не было,

Только одна дорога.

Но над дорогою было небо
И было его много.

С небом
 была в моей кружке водица.

С небом —
 краюха хлеба.

А когда-нибудь человек родится,
И ему не достанется
 неба.

II

Вечная темень вселенной.
Атомных ламп
 сияние синее.

Город
 с гигантской антенной.

Город,
 построенный из алюминия.

И миф о закате и солнечном свете
Толкует

 профессор
 в университете.

— Вот этот
 мрак,
 над нами разверстый,

Черная
 яма
 вселенной —

Находится
 в веденьи министерства

Санитарии
 и
 гигиены.

Где
мнилась
архангельская труба
Древним
небопоклонникам,
Туда,
в темноту,
в ракетах-гробах,
Мы запускаем
наших покойников.
Мы землю
не засоряем отбросами,
Рассадником эпидемий!
Отбросы —
атомными насосами
Вышвыриваются
в верхнюю
темень.
Кто видел солнце?
Мы знаем, что нет его:
Будь оно
в месте
самом укромном,
Радара
диск фиолетовый
Его бы нащупал экраном приемным.
Кто видел
когда-нибудь
звездный проблеск,
В который верили многие?
Небо
для нас —
это только область
Канализации
и
мифологии.

III

А где-то
 под сводом стеклянных аркад,
Уже предугадывая потерю,
Девушка спросит:
 «Ты веришь в закат?»
И юноша-скептик ответит:
 «Не верю».

А где-то
 художник-абстракционист,
Вообразивший, что небо —
 синее,
Что бывает луна, —
 на синий лист
Наклеивает
 кружок алюминия.
И в обсерватории
 уединенной,
Как будто
 навек
 к телескопу примерз,
В черную
 бездну
 смотрит ученый
И ждет
 второго
 пришествия
 звезд.

Послушай, я всё скажу без утайки.
Я жертва какой-то дьявольской шайки.
Послушай — что-то во мне заменя,
В меня вкрутили какие-то гайки,
Что-то вмонтировали в меня.

Впервые почувствовал я подмену,
Когда мне в окно провели антенну,
Когда приемник вносили сюда.
Как будто втащили Лондон и Вену,
И Рим и Москву — и все города!

И поползли на меня через стену
Змеями черными провода.

Послушай, сперва добрались до слуха
И стали мне перестраивать ухо,
Взялись сверлить, и долбить, и вертеть.
Что-то в ушах моих щелкнуло сухо:
Слух мой включили в общую сеть.

И вот в мои слуховые каналы
Вломились все позывные сигналы,
Разом крутиться пластинки пошли,
Заговорили вразброд, как попало,
Радиостанции всей земли.

И отключили от Божьего мира
Душу мою — моего пассажира.

Послушай, я скоро прибором стану,
Уже я почти что не человек,
В орбиты мне вставили по экрану,

И я уже не увижу поляну,
Я не увижу звезды и снег.

А будут на пленочной амальгаме,
Где-то под веками мельтеша,
Экранные люди в джазовом гаме
Выкидывать сплюснутыми ногами
Остервенелые антраша.

Пойми, мне помощь нужна до зарезу,
Пойми, я больше так не могу,
Меня опять готовят к протезу,
Уже протянут холод железа
Где-то в бедном моем мозгу.

Я знаю их адские выкрутасы,
Знаю, к чему это клонится всё,
Они мне сердце хотят из пластмассы
Вставить и вынуть сердце мое.

И никуда я от них не укроюсь,
От них никуда мне не увильнуть.
Мой пассажир оставляет поезд.
Порожняком я трогаюсь в путь.

Я даже смерти не удостоюсь.
Мне запретили отныне и впредь
По-человечески вспыхнуть, то есть
По-человечески умереть.

Ни ангельских крыльев, ни эмпиреев,
Ни райского сада, ни звездных люстр,
А просто иссякнет заряд батареи,
И я, как машина, остановлюсь.

Я вывеску приколотил:
— Лавка ночных светил —

Я нанизал, как бусы,
Луны на все вкусы.

— Печальные анонимы,
Апологеты уныния!
— Совершенно незаменимый
Месяц из алюминия!

У него замашки
Дагестанской шашки!

Занесен он наголо
Ослепительно светло.

А на левом фланге
Месяцы — бумеранги.

Как паутинки,
Тонки и робки
Месяцы — льдинки,
Месяцы — скобки.

Рядом на полке
Месяцы — щелки.

Месяц — хрусталик,
Месяц — крючок,
Месяц — рогалик,
Месяц — стручок.

Выточен плотно,
Тяжек, упруг,
В тучах — полотнах
Месяц — уютюг.

Кто о месяце этом
Вспомнит добром,
Он висел над кацетом
Человечьим ребром.

Вы видите, луна красна,
Вся в облачном угаре,
Как будто бы всю ночь она
Гуляла на пожаре.

Отходящие ко сну,
Любители томления,
Хотите, доведу луну
До белого каления?

Сочинять надоело,
Столько лет потерял.
Ликвидирую дело,
Продаю матерьял.

Месяца светящийся фаянс.
Отблески на крышах и антеннах,
Окон неоконченный пасьянс,
В сумерках разложенный на стенах.

Лампа загорается в окне,
Точно свет нисходит благодати,
И плывут, как в золотом вине,
Тени на сияющем квадрате.

Мне не раз казалось, что они —
Только дрожь потусторонних планов,
Кто-то резко выключит огни,
И они исчезнут, в камень канув.

И я сам поставлен под стекло
Высоко, почти под самой крышей,
Чтоб сиянье города вошло
В хрустали моих четверостиший,

Чтоб душа могла маячить так,
Как реклама на вечерней вышке,
То мгновенно прятаться во мрак,
То бросать оранжевые вспышки.

Юрию Большухину

Простому камню грубость
Оставь, каменотес,
Клади его, как Рубенс
Фазана — на поднос.

Пускай шербат и кряжист
И в выбоинах сплошь,
Чтоб чувствовалась тяжесть,
Когда его кладешь.

Поэт, на стих отважась,
Не прыгай налегке,
Пусть чувствуется тяжесть
Такая же в стихе,

Пусть чувствуется грубость,
Пусть будет стих шербат,
Клади слова, как Рубенс
Клад в чашу виноград.

Тот думает о ближних,
Тот знает ремесло,
Кто слово, как булыжник,
Ворочал тяжело.

В ГРИНВИЧ ВИЛИДЖ

Всю ночь музыкант на эстраде
Качался в слоистом дыму,
И тени, по-волчьему, сзади
На плечи кидались ему.

Себя самого растревожа,
Он несся в какой-то провал
И нежно во влажное ложе
Протяжные звуки вливал.

Здесь всякий приятель со всяким,
И всякий здесь всякому рад.
Артисты, пропойцы, гуляки.
Толкаются, пьют, говорят.

Над столиком тонкий светильник
Мелькает в зеленом стекле.
Привет тебе, мой сомогильник,
Еще ты со мной на земле.

Привет тебе, мой современник.
Еще ты такой же, как я,
Дневной неурядицы пленник
Над рюмкой ночного питья.

Какая-то тусклая жалость
Из труб серебристых текла.
Какая-то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.

Картины кострами сложите
И небо забейте доской!

Не надо уже Афродите
Рождаться из пены морской.

Не всплыть ей со дна мифологий,
И пена ее не родит,
Тут девка закинула ноги,
Тут кончился век афродит.

Я пальцами в такт барабаню,
Я в такт каблуками стучу,
Я тоже со всей этой дрянью
В какую-то яму лечу.

В голове крутились строчки
Неоконченных стихов.
Шла луна в одной сорочке
Тонких, дымных облаков.

Как во дни царя Гороха,
Бродит в небе до утра.
Ты бы спать пошла, дуреха,
И светилам спать пора.

Напечатай объявление
Или вывеску привесь,
Что прекрасные мгновенья
Останавливают здесь.

Прибивают здесь закаты
Между двух больших берез,
Чтоб стояли розоваты
И никто их не унес.

У заката, как у сцены,
Тут поставлена скамья,
Где остались неизменны
На столетья ты и я.

На ребре волны стеклянной
Встал огромный пароход.
Ни в какие океаны
Он от нас не уплывет.

И волна хрустальным клювом
Навсегда загнулась здесь,
И как будто стеклодувом
Изготовлен вечер весь.

Здесь забот и странствий бремя
Никого не тяготит.
Здесь вырезают время
Так же, как аппендицит.

Я на заре вечерней
Стою перед харчевней.

Смотрю я в глубь витрины,
Где ты перед жаровней
Вращаешь кус свинины,
Огромный и неровный.

Где ты — король сосисок,
Ты — царь окороков,
Блистаешь среди мисок,
Паришь среди горшков.

Ты создаешь еду!
Ты тот, кто обессмертил
Котел, прославил вертел,
Внес в мир сковороду!

Жир со свинячьей кожи
Ты так умело льешь,
Должно быть, ты и рожей
На медный чан похож.

Но, осторожно пятясь,
Ты повернулся вдруг,
В лице твоём и святость,
И бледность, и испуг.

Твои глаза с ознобом,
Под ними темный кант,
Акварелист, должно быть,
Должно быть, музыкант.

Как ты зрачками юркнул,
Мышонок, а не царь,
Как ты устал от буркал,
От рож, от рыл, от харь.

Они ежевечерне
Толпятся у окна,
Из глубины пещерной
Встают, как муть со дна,

И отсвет шевелится
На каждом кровяной,
Как будто эти лица
Все куплены в мясной.

Сюда ежеминутно
Заносит их прилив.
И я расплылся мутно,
И я к стеклу прилип.

Ты, малыш,
Крепко спишь!

Спи, дружок,
Сном невинным.
Твой чулок
Над камином.

Звезда, раскаляясь,
Мигает тебе,
К тебе Санта Клаус
Летит по трубе.

Остерегайтесь! По городу
Шныряет такой же дед,
Наклеил такую же бороду,
В такой же кафтан одет.

Он с виду почти что пастырь
И благодетель ваш.
Не верьте ему — он гангстер,
Маклер, делец, торгаш!

Бородищу всем на зависть
До сверканья выбелил,
Распеваает он акафист,
Посвященный прибылям!

Ах, какой же он смешной,
Весь в улыбке, весь в снегу,
Он пришел сюда с мошной,
Выколачивать деньгу!

Он товару и себе
Расточает похвальбу,
Он спустился по трубе,
Чтоб тебя пустить в трубу!

Разрумяненный, эдемский,
Сверхблаженный старичок!
На звезде на Вифлеемской
Нацепил он ярлычок, —

Возвестил благую весть,
Что на звезды цены есть.

У преддверья Рождества
Льстиво ерзающий,
Это он из торжества
Сделал торжище!

Оборотист этот дед,
Старикашка прыток,
Это он придумал бред
Праздничных открыток,

Продает на пятак
Хлама разного!
Рождество Твое
Разве так
Надо праздновать?

На пятак продает
Хлама сущего,
Рождество Твое
В оборот
Дедом пущено!

Побрякушки горят
Ерундовые!
Рождество Твое
Напрокат
Арендовано!

Заклинаю я поколениями
В Бога веровавших людей —
Старикашку с его оленями
Гнать бичами пора с площадей!

Пожалей нас,
Святой Николай!
Нам увидеть
Звезду
Пожелай!..

ПОЭМА БЕЗ НАЗВАНИЯ

Сергею Бонгарту

Там, в сквере, пять иль шесть
Деревьев оголенных,
Но как-то страшно сесть
У этих голых кленов.

Там пьяницы сидят,
И Данте Алигьери,
Как страж у входа в ад,
Поставлен в этом сквере.

Он здесь уже давно.
Он наблюденьем занят.
Он смотрит, как вино
Босяк из фляги тянет,

И как передает
Он эту флягу другу.
Друг отопьет — и вот
Она пошла по кругу.

Что им земная боль,
Обиды и измены,
Так нежно алкоголь
Разогревает вены.

Блаженны босяки.
Кто на земле мудрей их?
На скамьях пиджаки,
А души в эмпиреях.

В глаза их посмотри,
В лоснящиеся щели.
У каждого внутри
Не сердце, а качели.

Но вот уже дома
Над улицей качнулись,
И улица сама
Качнулась среди улиц.

Где подымался ввысь
Какой-то камень серый,
Оранжево зажглись
Квадратные пещеры.

Автомобиль кривой,
Как допотопный ящер,
Скользнул по мостовой
На светофор горящий.

Весь уличный пролом
Заставлен небосклоном.
Там небосклон стеклом
Стоит темно-зеленым.

На этот жалкий сад,
На этот сброд невзрачный
Три звездочки глядят
Из полумглы коньячной.

На этот бедный люд,
На этот люд никчемный
Они сиянье льют
Из глубы полутемной.

Три звездочки — ночей
Серебряные банты
Блистают на плече
У бронзового Данте.

Ночные голоса
И гул трактирных стоек
Не слышат корпуса
Неконченных построек.

Их силуэт сквозной
Напоминает соты
Под каменной луной,
Закинутой в высоты.

И корпуса таят,
В стенах своих упрятав,
Звучание сонат,
Сверкание театров,

Рукоплесканье лож,
Свистки и крик галерок,
Восторженности дрожь,
Взволнованности морок.

И дирижерский взмах
Мерещится оттуда,
Где высится впотьмах
Бесформенная груда.

Но вот уже дома
Над улицей качнулись,
И улица сама
Качнулась среди улиц.

Еще почти что пуст
Участок, на котором
Раскинется искусств
Сверхсовременный форум.

И ты сюда придешь,
И под удары клавиш,
Как ставят грудь под нож,
Всего себя подставишь.

Как много женских плеч
И лиц блестящеглазых,
Чтобы тебя увлечь,
В мехах стоят, как в вазах.

Как много вееров
На бархате балконов,
Люстр, ламп, прожекторов,
Юпитеров, неонов.

А что, когда обдаст
Тем холодком особым,
И ты, энтузиаст,
Отсюда выйдешь снобом?

Не доверяй коврам
И мраморным ступеням,
Павлиньим веерам,
Ночным столпотвореньям.

Верь звонким чердакам,
Что жмутся к самым крышам.
Поближе к облакам
Свободнее мы дышим.

Еще блаженно-тих
Сад, где поставлен Данте.
Еще сюда франтих
Не натащили франты.

И полицейский страж
Еще не гонит пьяниц.
А как войдет он в раж,
То наведет он глянец.

Здесь станет кадиллак
С почтительным шофером,
Что смотрит на зевак
Презрительнейшим взором.

И женщина пройдет,
Каменья платьем тронув,
И выставкою мод
Блеснет у этих кленов.

И юркнут в тесноту
Те личности живые,
Что прямо на лету
Хватают чаевые.

Но с грохотом дома
Над улицей качнулись,
И улица сама
Взорвалась среди улиц.

Где было пять иль шесть
Деревьев оголенных,
Там только тени есть
Обугленные кленов.

Где пьяницы сидят?
Где Данте Алигьери?
Уже у входа в ад
Или у райской двери?

Огромный город ввысь
Швырнуло глыбой серой,
И в воздухе рвались
Пещера за пещерой.

Автомобиль кривой,
Как допотопный ящер,
Сдох, испуская вой
И буркалы тараща.

И в небо, как в пролом,
Распахнутый циклоном,
Весь мир упал стеклом,
Рассыпавшись со звоном.

На этот бедный ад,
На этот мусор бренный
Три ангела глядят
Из огненной вселенной.

Они стоят в дверях
Зари багрово-темной,
Глядят на жалкий прах,
На этот прах никчемный.

Три ангела — столбы
Пылающего неба —
Глядят на тех, кто был,
Глядят на тех, кто не был.

Где блещет райский куст,
Поближе к райским хорам,
Раскинется искусств
Сверхсовременный форум.

И женщина в шелках
Приедет в кадиллаке
Туда, где в облаках
Лакей стоит во фраке.

И дирижер в раю
Подыметя над сценой,
Взяв палочку свою
С галантностью отменной.

И полицейский страж,
Весь в переливах радуг,
Небесный ералаш
Там приведет в порядок.

Туда ты не войдешь!
Ты жил уже на свете.
Ты ринешься в галдеж
Земных тысячелетий.

В тот океан земной,
Где катятся лавиной
Все беды до одной,
Все муки до единой.

В тот мир, что, сотворив,
Сам Бог давался диву.
Его не тронет взрыв.
Он недоступен взрыву.

Наскучила косность
Привычной орбиты,
И рвемся мы в космос,
До блеска умытый.

Там, в междупланетной
Светящейся стуже,
Убогость заметна
Звезды неуклюжей.

Звезда там угласта,
Тускла и шершава,
Как будто угасла
Вулканова лава.

Там прутья из стали
Сгибались, ломались,
А мы называли
Ее Стелла Марис.

Как будто из кузни
Обломки металла,
Беспомощно грузны,
Поникшие вяло,

Видать, что клепал их
Какой-то Вакула,
Скрепил как попало
И вешал огулом

Гигантские гвозди,
Стальные антенны,

Там выкачан воздух
Из целой вселенной,

Там грешному телу
Дышать даже нечем,
Так что же там делать
Мечтам человеческим?

Ужели же ради
Вот этой химеры
Вдыхали Саади
И пели Гомеры?

И август, что флером
Звездился искристым,
Был просто жонглером,
Иллюзионистом?

Кто яму прославил
Названьем нелепым,
Кто звал эту заваль
Божественным небом?

В провал безымянный
В глубины вот эти
Летят обезьяны
В турбинной ракете.

Лети, обезьяна,
Ты наш чичероне
В глуши первозданной
И потусторонней!

Гримасы ослабив,
Скачите, резвитесь,
Лазутчики штабов,
Шпионы правительств!

Снимайте на пленки
Своих аппаратов
И Лондон, и Конго,
И Кёльн, и Саратов!

Сквозь иллюминатор
Кабины летящей
Глядишь на меня ты,
Косматый прапращур,

И ловишь меня ты
В капканы экранов,
На координаты
Каких-нибудь планов.

Ты чуешь, мошенник,
Рассадник блошиный,
Что все мы мишени
Для этой машины.

Какого фантаста
Безумствовал циркуль,
Чтоб этот, блохастый,
Из космоса зыркал?

Предвидел Коперник,
Зажглось Галилею,

Чтоб тварей пещерных
Умчать к Водолею!

Предстало великим
В мечте дерзновенной,
Чтоб эти вот с гиком
Неслись по вселенной!

Тучнели от гари
Костры инквизиций,
Чтоб в космосе хари
Могли проноситься,

Бросали в темницы,
Пытали за ересь,
Чтоб им проноситься,
Хрипя и ощерясь,

С ужимкой, с ухмылкой,
С икотой и с визгом,
За звездной прожилкой,
За месячным брызгом,

Чтоб там им вертеться,
Вверху каруселясь,
Земля, в твое сердце
Смертельно нацелясь!

Я помню чайку над заливом,
Почти припавшую к волне,
И дерево, зеленым взрывом
В глаза ударившее мне.

Года, вы с грохотом идете
И где-то падаете все,
А я — всё там — на повороте
Того бессмертного шоссе

Стою, навеки удивленный,
А крымский берег подо мной
Всё машет мне листвою зеленой,
Всё машет синею волной.

Знаю, не убьет меня злодей,
Где-нибудь впотьмах подкарауля,
А во имя чьих-нибудь идей
Мне затылок проломает пуля.

И расправу учинят, и суд
Надо мной какие-нибудь дяди,
И не просто схватят и убьют,
А прикончат идеалов ради.

Еще буду в луже я лежать,
Камни придорожные обнюхав,
А уже наступит благодать —
Благорастворение воздухов,

Изобилье всех плодов земных,
Благоденствие и справедливость,
То, чему я, будучи в живых,
Помешал, отчаянно противясь.

И тогда по музам мой собрат,
Что о правде сокрушаться любит,
Вспомнит и про щепки, что летят,
Вспомнит и про лес, который рубят.

РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТ

Пронесся в небе звук протяжный,
И зашипело всё кругом,
Как будто бы по ночи влажной
Прошли горячим утюгом.

Разбужен, я вскочил с кровати,
Встал у открытого окна.
Как драгоценный камень в вате,
Блистала в облаке луна.

Там подымались, темно-сини,
Сооружения небес,
А звука не было в помине,
Он оглушительно исчез.

Но всей тоской моей упрямой
Я знал, что где-то там, вдали,
Он мчится над такой же самой,
Над смежной полосой земли,

И в нарастающем раскате,
В таком же городе ночном,
Там человек вскочил с кровати
И встал, как я, перед окном.

Тут волна ко мне подходит вкрадчивая,
Камушки у ног переворачивая.

Тут волна ко мне подходит палевая,
Легкой-легкой пеною заваливая.

Тут волна ко мне подходит ласковая,
За собою водоросли втаскивая.

Поутру вода тут малахитовая,
И песок вздыхает, воду впитывая.

Вечерами тут волна агатовая,
Набегает, брызгами окатывая.

Мне отсюда уходить не хочется.
Берег, как большое одиночество.

Как мятежники держат ружье,
Так вы держите гнев наготове.
Оттого и на сердце мое
Замахнулись тяжелые брови.

Оттого ваше темное «эл»
Так на «ве» временами похоже,
Оттого я был с вами несмел,
Может быть — и любил оттого же.

Опоздавшее сердце, ржавей!
Вы от жизни моей отойдете,
Но размах этих долгих бровей
Я запомню, как птицу в полете.

По-ученому не говори.
Пусть наивностью речь твоя дышит.
Будешь много читать словари —
О тебе в словарях не напишут.

Бойся благоустроенных слов,
Слов-чиновников, слов-бюрократов,
Слов без выступов, слов без углов,
Гладко-выбритых, щеголеватых.

Чтобы стих по-степному был дик,
Как душа, был широких размахов —
Напусти в него слов-забуддыг,
Слов-отверженцев, слов-вертопрахов;

И в словах оставляй сквозняки.
Если схватит читатель простуду —
Значит, ветер качает стихи,
И стихам тем поверят, как чуду.

Сочиняй с разумением в лад,
Никогда не гоняйся за звуком;
Сочиняй, как хозяйка салат:
Чтоб запахло укропом и луком.

Чтобы каждый предмет норовил
Озариться свеченьем глубинным,
Чтобы в листьях сквозил хлорофилл,
Чтобы кровь была с гемоглобином.

И стихи за стихами пиши,
Сочиняй и некстати и кстати,
Для души или не для души,
Для печати и не для печати.

Восклицанья вороньи
Повторяет воздух со всех сторон.
Ах, какое одностороннее
Образование у ворон.

Еще минута — и листик закружится,
А мы сидим, и медлим, и ждем.
А на асфальте зеркальце-лужица,
Забытое здесь вчерашним дождем.

И смотрит в него березка застенчиво,
Сама собою удивлена,
Хоть и березка, а все-таки женщина,
И даже кудри красит она.

Ах, какая на всем ирония!
Года за уроном наносят урон.
Восклицанья вороньи
Повторяет воздух со всех сторон.

У вас в глазах то робость,
То озорство, то страсть.
У вас глаза, как пропасть,
Где так легко пропасть.

Они у вас туманны,
И чуть блестят они.
У вас глаза — капканы,
Ловушки, западни.

Там вспыхивает шатко,
Там прячется, скользя, —
Решимость и оглядка,
И можно, и нельзя,

Открытость и рисовка,
Отчаянье и блажь —
Глаза, как маскировка,
Глаза, как камуфляж,

Как лунных два осколка,
Как дымных два цветка,
И целятся недолго,
И бьют наверняка.

Они у вас бездонней
Всех омутов и рек,
У вас в глазах — погоня,
У вас в глазах — побег.

И собственному сердцу
Я говорил не раз,

Что мне не отвертеться
От ваших дымных глаз.

В них темный ветер риска,
В них сам себе я снюсь.
Когда-нибудь я низко
Над ними наклонюсь.

Ветки голы. Месяц тонок.
Поздней осени пора.
Ветер плачет, как ребенок,
В люльке каменной двора.

Были суды-пересуды,
Разговор за коньяком,
Горы сдвинутой посуды,
Дым под самым потолком.

Разошлись куда-то гости,
Всё затихло, всё прошло.
В ледяном, ночном нахлесте
Ветки бьются о стекло.

Может быть, ушел я с ними
И в пути отстал от них,
И пропал в тяжелом дыме,
В наваждениях ночных.

Где-то ходит по вселенной,
Где-то прячется в веках
Нетерпимый и надменный
Ангел в рваных башмаках.

Если я дорогой к раю
Повстречаю тень твою,
То тебя я не узнаю,
Как себя не узнаю.

Другим пусть кажется завидным
Спешить всю жизнь из края в край,
А мне сидеть бы дома сиднем —
Где вырос, там и помирай.

С тех пор, как журавлиной тягой
Несет по тысяче дорог,
Душа горюет доходягой
За темной проволокой строк.

С тех пор, как птичьим всполошеньем
Куда-то вечно тянет в путь,
Живу крылатою мишенью,
Пока подстрелит кто-нибудь.

Я прошел переулком весенним.
Постоял у веселой реки.
Ошалело по всем направлениям
В наступление шли сквозняки.

Мне лиловое небо оттуда
Показалось еще лиловей.
Кровеносным сплетеньем сосудов
Подымались сплетенья ветвей.

И тяжелые птицы качались
И кричали в пустой высоте.
И огни городские, хрусталясь,
Отражались в речной скользоте.

Я совсем позабыл про усталость,
Только слушал, как возле меня
Прекращалась и вновь учащалась
Суматошных ветвей стукотня.

Высунулся во мглу
Из вороха одеял.
Проверил — стоит ли дом на углу:
Стоит, как вчера стоял.

Поправил ветер в саду,
Что бил о звезду доской,
Из сада убрал звезду
И вывесил над рекой.

Кажется, Орион
Задел и качнул плечом,
И ушел досматривать сон
(Уже не помню о чем).

Знаю, что мир вчерне
Был выстроен до меня.
Но, видимо, с миром мне
Еще предстоит возня:

Мне не подходит он
В том виде, в каком он есть.
Пора замесить бетон,
Пора на стропила лезть.

К.Н.Астори

Осень, осень — торопливый график,
Ты наносишь темные штрихи,
И кладут косую тень на гравий
Буков лиловатые верхи.

Ты глядишь перед собою прямо,
И речная даль тебе видна.
Ты ее с утра вставляешь в раму
Моего высокого окна.

Торопливый рисовальщик — осень,
Ты опять тоской меня обдашь,
Вот он — нелюдим и грандиозен —
Твой речной, твой ветренный пейзаж.

Облаков больших твоих наплывы,
Как попало, грубо наведя,
Ты уже кидаешь торопливо
Черточки пунктирного дождя.

Но пока, по ветру птиц развеяв,
Ты набросок делаешь углем,
Бережней, чем под стеклом музеев,
Он хранится под моим стеклом.

Мой театр ослепительно умер
От разрыва суфлерской будки,
И в театре темно, как в трюме,
Только скрип раздаётся жуткий.

Это я, обанкротившись дочиста,
Уплываю в мое одиночество.

Но я обманываю время,
Еще я где-то в странной драме,
Со всеми ведьмами, со всеми
Шекспировскими королями,

Еще в костюме я и в гриме,
Еще я в молнии и громе,
А может быть, я в Древнем Риме,
А может быть, я в желтом доме.

Надо мною небес многоплановость,
И как парус качается занавес.

Там на острове пальма кокосовая,
Перед островом — море розовое,
И сегодня с моею лирою
Перед пальмою я позирую.

Я восхищенно стану в позу,
Я руку вытяну вперед,
Как фокусник, который розу
Откуда-то из воздуха берет.

Я показываю фокус —
Только палочкой взмахну,

Моментально жизни окись
Превращаю в седину.

Я тоже иллюзионист.
Уже висок мой серебрист.

Я развлекаюсь в одиночку
В веселом обществе теней.
Художник, становись на бочку,
Чтоб быть видней.

Итак, представим мизансцену:
Мое окно выходит в стену.
Стена. Веревка для белья.
Окно. Стена. Веревка. Я.

ЛЬДИНА

Дома становились выше,
А улица — всё длинней.
Как промельк летучей мыши,
Я косо скользил по ней.

Казалось, что я задену
Стену моим крылом,
Казалось — я врежусь в стену
Где-нибудь за углом,

Казалось — вот-вот настигнут
Каменные валы,
Но, удлиненно-выгнут,
Я обтекал углы.

Кидая на стены криво
Живые куски теней,
Шарахаясь, как от взрыва,
От вспыхивающих огней,

Я двигался под обстрелом
Витрин, фонарей, реклам,
То залит сияньем белым,
То с розовым пополам.

Как будто за мною гнались
Снопцы цветковых лучей,
И шел спектральный анализ,
Город, твоих ночей!

Мимо авто промчалось,
Шарили прожектора...

Над головой качалось
Созвездие Топора.

Вдруг раскаленный кратер
Улиц ночных померк:
Невидимый декоратор
Выключил фейерверк.

Как будто бы всё живое
Сразу ушло с земли
В тот миг, когда эти двое
На перекресток вошли.

Гасли тысячи свечек.
В город вошли, как в морг,
Мистер Смит — контрразведчик,
Товарищ Петров — парторг.

На всех перекрестках мира
Стоят они по ночам,
На всех перекрестках мира
Прислушиваются к речам,

На всех перекрестках мира
Готовят переворот,
На всех перекрестках мира
Радио их орет,

На всех перекрестках мира
Гуляет их солдатня,
На всех перекрестках мира
Они убивают меня.

А в Антарктике
Среди льдин
В белом фартуке
Жил пингвин.

У поэта и у пингвина
В мире должна быть льдина.

Льдина — оплот,
Льдина — приют,
Льдина плывет,
Волны ревут.

Ветер и холодина,
А у меня есть льдина!

Ветер таранящий,
Ранящий, режущий...
Льдина — пристанище,
Льдина — прибежище.

И никаких соседей,
Кроме больших медведей!

Волны накинута
Ревом когорт —
Льдина — гостиница,
Льдина — курорт!

Море — а в середине —
Я и пингвин на льдине.

Льдина — качалка
Средь тысячи льдин,
Где вперевалку
Ходит пингвин.

Ходит себе господином
И улыбается льдинам.

Как на духу —
Сердце в грозу.
Небо вверху,
Море внизу...

Небо — стекло,
Море — тайник.
Птице — крыло,
Рыбе — плавник.

А у пингвина
Баловника
Две крыловины,
Два плавника,

А у поэта,
А у богемы
Только примета —
Крылатые темы!

Где ж нам уютиться,
Деться куда еще?
Оба мы — птицы
Из нелетающих!

Оба мы — птицы
Из неуклюжих...
Солнце нам снится,
Горящее в лужах,

Ночи нам снятся
На льдине соленой,
Звездные святцы,
Стрельцы, Орионы,

Звездная азбука
В книге воды,
Грозного айсберга
Синие льды...

Слушайте, сильные мира сего!
Только и просим мы — льдину всего!

Льдину — скитаться в просторах зеленых,
Льдину — без Наций Объединенных,

Льдину, что кружит, хрустально горя,
Без генерального секретаря,

Льдину, что затемно блещет алмазом,
Льдину, ненужную атомным базам,

Льдину — подальше от лодок подводных,
Льдину — подальше от сходок народных,

Льдину без компаса и без маршрута,
Льдину, что встала над пропастью круто,

Льдину, что в пропасть плывет без возврата,
Льдину без пропуска и без мандата,

Без конституций и без династий,
Льдину из тех, что несутся на счастье

Там, где лазоревый дым в океане,
В месте, которого нету на плане,

Льдину без кодекса, льдину без статуса,
Льдину для тех, кому хочется спрятаться,

Льдину, что в море плывет анонимно,
Льдину без флага, льдину без гимна,

Льдину из тех, что удаю несетя
Без генерала и без полководца,

Без мавзолея и без capitoлия,
Льдину, которой милее приволье,

Льдину, куда не опустится летчик,
Льдину мечтателей и одиночек!

Волны раздвинув, плыви без запретов —
Льдина пингвинов, льдина поэтов!

Весь океан, убеленный сединами,
Слева и справа вздымается льдинами...

Я и пингвин — мы выходим на форум,
Мы дирижируем миром, как хором,

Слышим, как волны, высоки и скользки,
Шепчутся между собою по-польски!

Двигаясь медленно в брызгах и пене,
Ставим большие закаты на сцене!

Сколько увидим высоких трагедий
Из удивительной жизни медведей!

Рыбу и крабов к обеду надергав,
Мы хорошо проживем без парторгов!

Прямо на нас через водные хляби
Ляжет луны алюминиевый кабель,

Нас повстречает звезда поцелуем
Там, где к полуночи мы пришвартуем,

Там, где за тьмою стоит наше завтра,
Как одинокий корабль космонавта.

КОСОЙ ПОЛЕТ

МОЙ ДЕНЬ

Шли зданья, раскинув
На сотни кварталов
Огни магазинов,
Сиянье вокзалов.

Навстречу мне били
Слепящие свету
От ангельских крылий
Летающей газеты.

Там тень, что смятенной,
Неслышной машиной
Летает по стенам,
Как нож гильотинный.

Там лампочки, винным
Подобны бокалам,
Со светом карминным,
Оранжевым, алым.

Я тенью по стенам
Чуть видно намечен.
Я красным рентгеном
Под сердце просвечен.

То прячусь в сторонке
Под стать невидимке,
То где-то на пленке
Я вспыхнул на снимке.

Казалось, что магний
Блистательно вспыхнул,

Казалось, я ахнул
И сразу же стихнул.

И сразу потухнул,
И как-то опально,
Отверженно рухнул
В какую-то спальню,

Я в простыни канул,
Я канул в матрацы,
Мне снятся мельканья,
Мне здания снятся.

По шумным проспектам,
По улочкам жалким
Там катится некто
В ночном катафалке.

Мой день бездыханный
Там катится шариком ртутным
По кафелю ванной,
В которой я выбрился утром.

Там день мой хоронят
Со всем его шумом и вздором
В том самом вагоне,
В котором я ехал в контору.

Почивший, безгласный,
Он виден мне сверху отсюда, —
Мой день, что погаснул
За темным холмом ундервуда.

Мой день, по котором
Отходные шепчут молитвы
Его коридоры,
Его кабинеты и лифты,

Его неудачи,
Его треволненья и страхи.
Мой день, что потрачен
На всякие охи и ахи,

Который был отдан,
Который вручен без остатка
Углом, переходам,
Туннелям, мостам, пересадкам,

И всем телефонам,
И пошлости всех разговоров,
И нежно-зеленым
И красным огням светофоров, —

Он жил суетливо,
И как-то погиб несуразно,
В каких-то архивах,
В каких-то бумагах увязнув,

Сидит секретарша
Еще и поныне в приемной,
Где в траурном марше
Колышется гроб его темный.

Мой вечер короткий
Расхищен, растаскан, развеян.

И только ошметки
Блестят еще в окнах кофеен.

Он двинулся в вечность
Со всем своим скарбом.
Мой день скоротечный
Ушел к динозаврам.

Я вижу в пространстве
Вселенной туманной
Блистанье фаянса
И кафеля ванной.

Лицо мое брея,
В сиянии пены,
Я пробую, время,
Ломать твои стены.

И хрупко и ломко
Стеклянное завтра.
Я прямо к потомку
Веду динозавра,

И с ним его дебри,
Его океаны,
И месяц, серебрян,
Свисает с лианы.

Шумят эвкалипты.
Летят метеоры.
Я двигаюсь к лифту.
Спешу из конторы.

ПИСЬМО АНТИПОДУ

Уже над миром ночь
Играет в белый мяч.
Скитайся, одиночь,
По улицам маячь.

Помедли где-нибудь
У пристани речной,
Где блещет Млечный путь
И небоскреб ночной.

Бумажную труху
Несет по мостовым.
И спутники вверху
Летают по кривым.

А человек внизу,
А человек на дне,
И жметя на весу
Над ним стена — к стене.

И у бетонных плит
Стоит он одинок,
И звездами облит
Он с головы до ног.

Вот так и я стою
Под звездами один
В моем глухом краю
Заборов и рябин.

Как город мой хорош!
В нем улеглась метель.

А где-то ты живешь
За тридевять земель.

И между нами тишь,
И между нами гладь,
И если ты кричишь,
То мне не услышать.

Ты от меня далек,
Ты в городе своем,
И между нами лег
Могучий водоем.

Кораллы там цветут,
Там плавают киты.
Когда я крикну тут,
То не услышишь ты.

В снегу тут ель и вяз,
Тут снег на сотни верст.
Мой дом в снегу увяз,
Мой дом в сугробы вмерз.

А там, где ты живешь, —
Тень пальмовых ветвей,
И звезд иной чертеж
Над головой твоей.

К лотку я подошел,
Газету я беру,
Хоть знаю хорошо,
Что это не к добру.

Пускай я наугад
Газету разверну,
Я знаю — там трубят
Про новую войну.

Я на любой волне
Включаю аппарат,
Но знаю — о войне
Там тоже говорят.

Принадлежит статья
Не моему ль перу,
И разве же не я
По радио ору,

Выкрикиваю ложь,
Несу галиматью,
Что ты меня убьешь,
Что я тебя убью.

Как бы двойное дно
Устроено внутри,
Подумаешь одно —
Другое говори.

Как бы двойное дно,
Как будто две души,
Подумаешь одно —
Но о другом пиши.

И ты проходишь там
Под звездами один

В своем краю реклам,
В своем краю витрин.

И ты берешь с лотка
Газетный динамит,
Где с каждого листка
Поджогами дымит.

Газетчик за пятак
Тебе всучает бред
С угрозами атак,
Со схемами ракет.

И ты, читая ложь,
Несешь галиматью,
Что ты меня убьешь,
Что я тебя убью.

Пусть спутник надо мной
Всё выше, всё сложнее,
Но спутник мой земной
Небесного важней,

И знаю я одну
Из всех земных забот:
Кто не убьет войну,
Того война убьет.

Кто там над Тихим и Атлантическим
В небе снарядам свистит
баллистическим?

Лучше давайте запустим шутихи
Над Атлантическим или над Тихим.

Или к созвездьям качели подвесим,
Чтобы визжа пролетать поднебесьем,

Иль над заливом Беринговым льдистым
Гулким мостом прозвеним, как монистом.

А у Камчаток и у Алясок
Выстроим базы детских колясок.

И откровенно заявим мы парням,
Тем, что взрывают за кругом полярным, —

Все ваши бомбы сложите огулом,
Все ваши бомбы швырните акулам!

Мой сопланетник! давно уж пора нам
Небо вечернее сделать экраном,

Чтобы показывать миру оттуда
Фильмы Парижа, Москвы, Голливуда.

Мы стадион с колоссальной трибуной
Соорудим на поверхности лунной

И кораблей межпланетных армаду
Вышлем на лунную олимпиаду.

Только все эти мечтания всеу,
Стих мой, кому я тебя адресую?

Стих мой, куда тебя волны угнали
В легкой бутылке, в стеклянном пенале?

Стих мой, плывешь при попутных ли ветрах?
Кто тебя выловит — друг или недруг?

Я забросил бутылку в воду,
А в бутылке — письмо антиподу,

Иль себе самому письмо
Я послал от себя самого.

И бутылка — кусок стекла —
Закачалась и поплыла.

Хватит слоняться праздно по безднам.
Надо заняться чем-то полезным.

Скажем, печати купить и начать
Ставить на каждом закате печать.

Чтобы закат у дороги шоссейной
Как экспонат изучался музейный,

Чтобы из мира он выбыл со штемпелем,
Зарегистрирован розово-пепельным,

Чтобы отметил спектральный анализ,
Как эти краски хрустально менялись.

Может быть, дети в столетье тридцатом
Сложат по этим соцветьям закаты,

Сверят по рубрикам, сложат по кубикам,
Смажут по небу карминовым тюбиком,

И над каким-нибудь городом хмурым
Небо зажгут золотым абажуром, —

Это стихи мои вспыхнут, как хворост,
Это закат мой зажжется еще раз.

Я умиленно составлю каталог
Дынно-лимонно-оранжево-алых,

Медных закатов,
Дымных закатов,

Летних закатов,
Зимних закатов,

Тощих и розовых
В рощах березовых,

Распространенных
В тихих затоках,

Свет расплескавших
В лиственных чашах,

В бешеной ярости
Брошенных в заросли,

Где-то на пастбищах
Медленно гаснущих,

Золототканых
На океанах.

— А закат все ниже стекал
И наполнял сияниями
Вечернего неба стакан,
Поставленный между зданиями.

ПОЭТ

Он жил лохматым зачумленным филином,
Ходил в каком-то диком колпаке
И гнал стихи по мозговым извилинам,
Как гонят самогон в змеевике.

Он весь был в небо обращен, как Пулково,
И звезды, ослепительно-легки,
С ночного неба просветленно-гулкого,
Когда писал он, падали в стихи.

Врывался ветер громкий и нахрапистый,
И облако над крышами неслоь,
А он бежал, бубня свои анапесты,
Совсем как дождь, проскакивая вкось.

И в приступе ночного одичания
Он добывать со дна сознания мог
Стихи такого звездного качания,
Что, ослепляя, сваливали с ног.

Но у стихов совсем другие скорости,
Чем у обиды или у беды,
И у него с его судьбой напористой
Шли долгие большие нелады.

И вот, когда отчаяние вызрело
И дальше жить уже не стало сил, —
Он глянул в небо и единым выстрелом
Все звезды во вселенной погасил.

Неслышно входит городское лето
В отмеренное для деревьев гетто,

Где пробегает по дорожке пес
И где деревьев несколько вразброс,

Тревожно размещая светотени,
Стоят, как декорации на сцене.

А чуть поодаль — каменный потоп:
Плывет за небоскребом небоскреб,

И снова небоскреб за небоскребом
Вздывается гигантом темнолобым.

А я стою под ветром и листвой,
Я от листвы и ветра сам не свой,

И этот сад почти как остров странен,
Мне кажется, что я — островитянин,

И что когда-то, может быть, в раю,
Я видел эту бедную скамью,

И эту невысокую ограду,
Я помню пса, бегущего по саду,

И предо мной встает со дна морей
Сад затонувшей юности моей.

Что с деревом делать осенним,
С оранжевым сотрясеньем,
Плеском и колыханьем,
С блеском его чингисханьим,
С этим живым монистом,
С деревом тысячелистым?

С деревом тысячелистым,
Резким, броским и тряским,
Истым импрессионистом
По хлестким мазкам и краскам!
С деревом, что смеется,
С деревом-знаменосцем!

Глянь на его богатства, —
Некому с ним тягаться!
Осень в него вложила
Золотоносные жилы,
Солнца вкатила столько,
Что светится, как настойка!

С неба закаты взяты
И влиты в него закаты,
Гнется под ветром крупным,
Бьется цыганским бубном, —
Не дерево, а кутила,
Осень озолотила!

Что с деревом делать осенним,
С круженьем его, с крушеньем,
С его золотой падучей?

Листья сгребаем в кучи
И меж домов громоздких
Сжигаем на перекрестках.

Алебастром сверкает гостиница,
А вокруг нее пальмы павлинятся

И, качаясь по ветру размашисто,
Синевою небесною мажутся,

И дрожит над своими пожитками
Море, шитое белыми нитками.

А над морем, над пляжем, над пальмами
Ходит солнце — охотник за скальпами,

Озирается, по небу ходючи,
И ножи его блещут охотничьи...

И лежу я под пальмами этими,
Говорю я с тысячелетьями,

С ветром, солнцем, и морем, и сушею,
И что мне говорят они — слушаю.

Читаю Боккаччо,
Чуточку морщусь;
Поезд, покачивая,
Мчит через рощу.

Окнами глупыми
Пульман закупорен,
Солнце за купами
Катится кубарем,

Солнце ныряет,
В листве догорая...
Мы, дорогая,
У самого рая.

А рай первозданный,
Могучий, дремотный,
С пещерой стеклянной
В гостинице модной...

Там выкрики чаек,
И море, и скалы,
И пальма качает
Свои опахала,

И так мы похожи
На Еву с Адамом,
Ты — с сумкой дорожной,
А я — с чемоданом.

По нашим небыстрым
Торжественным жестам
Поймут: мы — туристы,
В раю мы проездом.

Как с трамплина влетают в бассейн,
Так и я моей тяжестью всей

Рассекаю до самого дна
Стекловидную светопись дня.

Словно тело в стекло вплетено,
Словно тело в стекле ледяном,

И вослед сквознякам световым
Я теку по каким-то кривым,

Словно я в полусмерть занесен,
В полусвет, в полумрак, в полусон;

Обнадежь меня, время, скажи,
Что я вставлен в твои витражи:

Когда стекла твои зацветут,
Ты поставишь меня на свету,

На юру, на восход, на закат,
В листопад, в снегопад, в звездопад.

Встал у платформы дымный и шипящий
Вечерний поезд, выходец из чащи.
Но стоит только пристальной взглядеться,
Поймешь, что поезд — выходец из детства.
И может быть, ты обнаружишь сходство
С тем мальчиком, который там смеется.

А поезд снова просекой еловой
Погнался за луной большеголовой,
Где по бокам большие тени леса
Толкаются и под колеса лезут.
А мальчик за ночным локомотивом
Так и остался лунным негативом.

Остался за стеклянным расстоянием,
За временем, за звуком, за сиянием,
Куда уже не добежать по шпалам.
За временем, за выщербленно-впалым
Пересеченным временем, за теми
Деревьями, уплывшими за темень.

Я решаю вопрос большой —
Что мне делать с моей душой?

Вот стою я под фонарем,
Говорю ей — вдвоем умрем,

Только жизнь со мной промытарь —
И потухнешь ты, как фонарь.

А выходит, что все вранье,
Что обманываю ее,

Что дела ее нехороши,
Что бессмертье есть у души!

И хотя она здесь со мной,
Для нее я — двор проходной,

Сквозь который душа пройдет
От одних до других ворот.

Мне-то что, я пойду на снос,
Вот с душою как быть — вопрос.

Как помочь разорвать ей круг
Этих вечных блаженств и мук.

Что же будет с моей душой?
Вечность — срок чересчур большой!

На Севере и на Юге,
На Западе и Востоке,
Волны сгибая в дуги,
Плещут моря — широки.

Суши клочок сиротский
Всем нам отмерен скупю.
Словно живем на клетке
Где-то в тарелке супа.

Вот занесет волною,
Так, как заносит снегом,
И никакому Ною
Не уцелеть с ковчегом.

Только звезда над зыбким
Неугомонным лоном,
Да проплывают рыбки
По храмам и стадионам.

НИАГАРА

Лакированным отрядом
Мчат они по автострадам.

Пролетают, как в угаре,
К Ниагаре, к Ниагаре!

Бравый парень за рулем
Восседает королем.

Он король-молодожен,
Он, как пушка, заряжен!

И сидит у парня справа
Расфуфыренная пава.

Ниагара, Ниагара,
Над речным резервуаром,

Упираясь в берега,
Блещет вольтова дуга!

Ослепительно, бурливо
Со скалистого обрыва,

Точно с ткацкого станка,
Льются белые шелка.

Ниагара, грохот твой
У меня над головой,

Надо мной твой звездный ливень
Неизбывен, непрерывен.

Над веками, над людьми
Ты шумела и шуми,

Ниагара, так и стой
Подвенечною фатой!

Пусть шипит твоя волна,
Добела расщеплена.

Ниагара, Ниагара,
Обдаешь ты белым паром,

Ты вздымаешь горы брызг,
Над тобою чаек визг,

И малютка-пароходик
Под стеной твоей проходит,

Под летящею стеной,
Леденящей, навесной.

Ниагара, Ниагара,
Никому ты не нагала,

Твой пленительный обвал
Грохотать не уставал.

Отчего ж такая кара,
Ниагара, Ниагара?

Над тобою непрестанно
Вырастают рестораны,

Твой могучий водоем
Отдан хищникам внаем,

И пристал, как банный лист,
Облепил тебя турист,

Он толпится у перил,
Он очки в тебя вперил,

Он садится в вертолет,
Сверху он в тебя плюет,

Там, где воды мчатся вскачь —
Сколько выстроено дач!

Там, где вечность шумно льет, —
Он свои коктейли пьет,

И жену, как тесто, месит,
Проводя медовый месяц,

Дышит пьяным перегаром...
Ниагара, Ниагара!

Помнишь ты, как ирокез
По твоим порогам лез?

Сжаты водами в тиски,
Мчались в бочках смельчаки,

В твой поток кидаясь ярый,
Ниагара, Ниагара!

Пред толпою хорохорясь,
Над тобой канатоходец

Балансировал с шестом
И чернел вверху крестом.

А совсем внизу у спада,
Где вода толпиться рада,

Где река буграми взрыта
Между выступов гранита,

Прямо в каменные щели
Гидростанции засели.

Рев бушующих турбин
Слился с грохотом глубин.

Ниагара, сотрясай
Гидростанций корпус!

Ниагара, оправдай
Все на свете провода!

Чтобы славу разносила
О тебе электросила,

Что ты трудишься на благо,
Что у нас ты работяга,

Что ты мощь земного шара,
Ниагара, Ниагара!

Бог восхитился шаром,
Взялся за шар он с жаром.

Создал миров миллиарды,
Каждый, как шар бильярдный,

И стало привычным бытом
Шарам кружить по орбитам.

А я себе во вселенной
Дом выстроил четырехстенный,

Ребристый, угластый, колкий,
С крышею треуголкой.

А я под небом голубеньким
Сажу и играю в кубики.

Бог выгнет коленцем дерево
И краской зеленой мажет, —
Стоит оно так растерянно,
Стоит и листьями машет.

А я себе для порядку
Сколачиваю оградку,
Я прибиваю доски,
А доски остры и плоски.

Бог прикоснется к облаку,
Только погладит по боку —
И облако золотится,
Свисает с облака птица.

А в небе моем, как вены,
Проволоки и антенны.

Бог ходит по меридианам,
Все Богу кажется странным.

А я по дорогам шоссейным,
Скучным, прямолинейным.

А для моей души
Нужны купола-кругляши.

Овальности и покатости
Для радости и для святости.

Земля моя, колобок,
Куда тебя катит Бог?

Стопудовые и древние
Камни высятся в лесу,
И деревья за деревьями
Держат ветки на весу.

И не знаешь — то ли озеро
Там блестит наискосок,
То ли вечность заморозила
Неба синего кусок.

И деревья, в выси аховой
Разметавшие верхи,
С каждой ветки солнце стряхивают
На каменья и на мхи.

Я хотел бы жить тут лодырем,
Ни о чем не думать впредь,
И во все глаза до одури
С удивлением смотреть.

Странно и неожиданно
Стал я богачом:
Я набил карманы
Солнечным лучом.

Я теперь богат,
Мне теперь почет.
Я кладу закат
На текущий счет.

А как дуб листвою
Надо мною тряс,
Он мне отдал свой
Золотой запас.

Крепче всех валют,
Звонче всех монет
Те лучи, что льют
Предвечерний свет.

Больше всех богатств
Тот закат в огне,
Что сейчас погас
У меня в окне.

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

С веком рассорясь,
Жил стихотворец.

Он напевал —
А его наповал.

Он теперь, как прочие,
Ждет, занявши очередь:

Из могилы выруют,
Реабилитируют.

Я не знаю, где бы выпросить
Краску, чтобы ветер выкрасить.

Прекратить нелепость дикую,
Что он ходит невидимкою.

Я люблю определенности,
Красности или зелени,

Фиолетовости, синести,
А вот ветра мне не вынести,

Потому что ветер — фикция,
Хоть и есть у ветра дикция.

Вот и мыслью ошарашен я,
Чтобы ветер дул раскрашено,

Дул павлинисто, фазанисто,
Дул гогенисто, сезанисто,

Чтоб по всей его волнистости
Шли сиреневые мглистости,

Чтоб скользили по наклонности
Голубые просветленности,

Чтоб он гнал в рывках неистовых
Цветовую бурю выставок,

Пусть по ветру фордыбачатся
Все абстрактные чудачества,

Многоцветные, несметные,
Несусветно-беспредметные,

Пусть в его порывах множатся
Сумасшедшие художества,

Пусть разгуливает клоуном
Идиотски размалеванным,

Пусть размахивает красками,
Как платками самаркандскими.

Весь вмещенный в очертания,
В свето-цветосочетания,

Пусть проходит ветер красочный,
Кочевой, блестящий, сказочный.

ЗАВЕЩАНИЕ

Пора уже облекать
В слова документ прощальный.
Пожалуйста, адвокат,
Составьте мне завещанье.

Вы знаете, я богат.
Всё у меня в избытке.
Я золотой закат
Переплавляю в слитки.

Хрусталь, аметист, опал,
Брильянтовые булавки
Я у дождя покупал
В его ювелирной лавке.

Храню я кусок волны —
Пена на ней из платины
И нежно закруглены
Выпуклости и вмятины.

Лежат в моих кладовых
Несчитанные богатства —
Сотни дорог кривых,
Чтобы по ним таскаться.

Накиданы облака
Впавал с другими вещами.
Пожалуйста, адвокат,
Составьте мне завещанье.

Там вещи такие редкие,
Которым нету цены.

Есть тень у меня от ветки,
Я снял ее со стены, —

В сажень величиною
Продолговатая тень.
Еще есть окно ночное
В темень, в теплынь, в сирень...

Есть средь моих палат
Палата звездных качаний,
Пожалуйста, адвокат,
Составьте мне завещанье,

Пожалуйста, адвокат,
Составьте мне завещанье —
Пора уже отвыкать
От жизни с ее звучаньем.

Все звезды от первой и до последней,
Все огни, что ночами светятся, —
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.

Чем одаряют и одаряли
Консерватории всех веков,
Все прогремевшие бури роялей,
Все косые дожди смычков,

Всё, что в скитаниях тысячелетних
Людам пригрезилось и пригрезится, —
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.

Все фантазии, все капризы,
Все иллюзии, все мечты,
Театров светящиеся кулисы,
Музеев диковинные холсты,

Всех живописцев цветные бредни,
Всё, что блистательной кистью метится, —
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.

Эту грешную, эту старенькую,
Суматошную землю мою,
Утопающую в кустарнике
В парке каменную скамью,

Всю прохладу сумерек летних,
Когда легко разойтись и встретиться, —
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.

Этот снег, только что выпавший,
И развеселого босяка —
Вот он, нескладный, немного выпивший,
Идет, покачиваясь слегка, —

Февральской ночи шумящий ледник,
Все фонари, что звенят в гололедицу, —
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.

Был я поэт, бедняк,
Бился, язык высуня,

Ценнее ценных бумаг
Бумага была исписанная.

Не затевал я дел,
Не заправлял финансами,
А все-таки я владел
Вот этой луной фаянсовой.

И, без копейки сиживая,
Я не терял мужества:
В небе мое недвижимое
И движимое имущество.

Знал я, зубами клацая,
Знал я, ремень прикручивая,
Что у меня акции
Самые наилучшие.

Что я, по воле дивного
Случая и неслучая, —
Акционер правдивого
Великого и могучего.

Отстаньте с книжкой чековой,
Когда я с книжкой Чехова!

Зачем мне ваш текущий счет?
Мой счет неиссякаемый!
Ко мне не золото течет,
А Пастернак с Цветаевой.

Пускай сегодня я не в счет,
Но завтра может стать ся,
Что и Россия зачерпнет
От моего богатства.

Пойдут стихи мои, звеня,
По Невскому и Сретенке.
Вы повстречаете меня,
Читатели — наследники.

Нет, завещанье еще не полное.
Нет, завещанье еще не конченное:
Я завещаю вам гром и молнию,
Я завещаю вам море всклокоченное.

Еще завещание не заверено,
Еще не все поставлены подписи —
Я завещаю вам тучу и дерево,
Я завещаю вам выси и пропасти.

Еще не всё до конца оговорено,
И не оттиснуты все печати:
Я завещаю вам ветку и ворона,
Рощу осеннюю на закате,

Желтые листья, летящие накривь,
И облаков величавые сдвиги,
И на прощанье — последний параграф —
Я завещаю вам солнце и книги.

Я просыпаюсь
И рассыпаюсь.

Но не на части, не на куски —
От меня откалываются двойники.

Отделяются
И удаляются.

Один из них ставит чай на плиту
И молоко наливает коту.

Еще сонный, еще ночной
Разговаривает с женой.

А щеки бреет который —
Зацапан уже конторой.

В учреждении оном
Он лает по телефонам.

И скоро его нутро
Будет трястись в метро.

А третий — поэт, лунатик —
Сшибет его ветра натиск!

А доведется около
Какой-нибудь юбке вертеться —
Она у него, как колокол,
Раскачивается в сердце.

Он удивлен. И слышно,
Как дышит четверостишно.

Нас всех рисовал художник,
Художник из тех, дотошных.

Все вышли, как на портрете —
Первый, второй и третий.

Я выгляжу, как начальник:
Не голова, а чайник.

А вместо руки обрубок
Из телефонных трубок.

Кот о пиджак мой трется,
И у меня с ним сходство.

А у плиты жена
Пылает, подожена.

И на жену из блюда
Молочные струйки льются.

И всем нам наперерез:
МЕНЕ-ТАКЕЛ-ФАРЕС

С соответственным переводом:
НЕ ОПОЗДАЙ НА РАБОТУ.

Выдала кисть кубиста,
Что такое убийство.

ЧЕТЫРЕ УГЛА

Анатолию Сапронову

Вышел и вижу: четыре угла.
На каждом огромный дом.
Ввысь уходят квадраты стекла,
Блистая лиловым льдом.

Еще далеко до первых звезд.
На небе красный дымок.
На каждом углу сколочен помост.
С помоста кричит демагог.

Четыре угла, четыре толпы,
Четыре истошных вопля.
И я к перекрестку с другими доплыл,
Как в сеть заплывает вобла.

Приплыл на северный угол.
Вижу — орет один.
Глаза у него — как уголь
Из-под золы седин.

Разглагольствует хорошо!
Особенно слово «честь»
Произносит с самой большой
Буквы что ни на есть!

— Я — говорит — патриот
Рыцарского закала,
Я говорю — вперед,
Под знаменем генерала!

Тут выходил генерал
И радостно козырял!

На генерале мундир,
Генерал распевает арии
О том, что каждому сыр
Он выпишет из Швейцарии!

И сразу — неукротим —
Рев над столицей мира:
— Все как один хотим
Вкусить швейцарского сыра!

Но те — говорит он — гадины,
У кого иностранное отчество,

И мне их на перекладине
Очень повесить хочется!

Смерть — говорит — пронырам!
Они между мной и сыром!

И вопль летит к поднебесьям:
Приказывай — всех повесим!

Пробился на угол южный,
А там вопит золотушный,
Тщедушный и некрасивый —
Нос обвисает сливой.

Я — говорит — за равенство,
Я — говорит — за братство.

Хочу — говорит — нравится,
Хочу — говорит — лобызаться!

Как только низы
Дорвутся до власти —
Поделим носы
На равные части!

Наш лозунг всечеловеческий:
Каждому — нос греческий!

Закончил носатый визгом
И трясанув кулаком:
— А с сыром милитаристским
Не суйтесь! Ваш сыр с душком!

Тут встает кривоногая
И обещает многое!

Справедливость сулит рабочим,
А несправедливость — прочим!

В мире не место нечисти,
Надо с земли стереть
Если не полчеловечества,
То непременно треть!

Мы учиним разнос!
Мы уберем с дороги
Тех, у которых нос
Прямой и прямые ноги!

Сбрасывай под откос
Эксплуататоров класс,
Чтобы прямой нос
Стал достояньем масс!

Вышел на угол западный,
Лозунгами заляпанный.

А там либеральный чижик
Вычитывает из книжек.

Во всем — говорит — сперва
Человеческие права.

Вот господин генерал
Неоднократно и четко
Перед толпой заявлял,
Что мне перережет глотку, —

А я говорю — браво!
Это его право!

И мой носатый собрат,
Сжимающий кулаки,
Был бы ужасно рад
Выпустить мне кишки —

А я говорю — браво!
Это его право!

Ни под каким видом
Не должен
Ограничиваться индивидуум!

А если страсть индивидуума
Стрелять либералов упрямо,
То это его, видимо,
Политическая программа,

А существо программ
Нельзя менять ни на грамм!

Тут пошел он дичь нести
О свободе личности!

Я сбежал, испуган,
На восточный угол.

А там аскет долговязый
Нечто вещает важное,
И на стене монашеской рясой
Тень мелькает шестиэтажная.

— Наш Бог — Бог!
А их Бог — плох!

Говорю вам, с догматом сверясь,
Всё остальное — ересь!

С нами псалмы поющий
Узрит райские кущи!

А тот, кто поет на другой распев, —
Того постигнет Господень гнев!

Никто не спасется бегством,
Согласно священным текстам.

Слушай и выбирай,
Что тебе говорят:
С нами пойдешь в рай,
С ними пойдешь в ад!

Да управляет миром
Генерал, осененный сыром!

А тот, кто мечтой унесся
За прямоюю носа,

Тот подвержен разным
Дьявольским соблазнам

И сгинет в геенне огненной,
Нами из мира прогнанный!

Говорю вам, с догматом сверясь, —
Все остальное — ересь!

Над морем голов, над морем голов
Крики летят с четырех углов,

И ужас сердце мое холодит,
Что кто-то из них победит.

БИТНИКИ

Вихлясты, расхлябаны,
Клокасты, нечесаны,
С такими же бабами
Простоволосыми,
Нахохленные, как сычи,
Шляются бородачи.

Видно, такая мода,
Видно, такой фасон,
Что мордой он — Квазимодо,
А волосней — Самсон!

Вот он, мой современник,
Глубокомыслен, как веник.

Он и его Беатриче
Поклялись друг другу не стричься!

В этом и шик модерный,
Чтоб выглядеть попещерней!

Звонче, гитара, тренькай —
Станем на четвереньки!

А какие-то профессора
Квохчут, вздором научным потчуя:
«Время кризисов» et cetera,
«Социальный протест» и прочее,

И выходит, что волосатость
Чуть ли не философский статус.

До коленных суставов вытянись,
Подбородочная растительность!

Объявляю — я тоже битник
Из самых из первобытных:

Я ратую горячо
За шкуры через плечо,

За набедренные повязки
Ослепительнейшей раскраски,

За дубины и за костры,
За каменные топоры.

Объявляю, что я поборник
Запрещения всех уборных —

Социальный во мне протест
Против отхожих мест!

Я к природе, к земле влекусь,
И меня вдохновляет куст!

Взьерошенные, как птахи,
На скамьях сидят неряхи.

Но все ж восседают парами,
Целуются все ж по-старому,

Смеются, друг дружке нравясь,
Трещат — разорви их атом, —
И во мне накапливает зависть
Лысого к волосатым.

НОВОГОДНЕЕ

Ночка новогодняя
В звезды разодела.
Никуда не годная
Катится планета.

Что ты кружишь попусту,
Что ты мчишься в темень,
Наклонив над пропастью
И Москву, и Бремен,

И Париж, и Токио,
И Милан, и Сочи,
И летят высокие
Ледяные ночи.

И в Чехословакии,
В Англии, в Китае
Слышно — звезды звякают,
Отблески кидая.

Где-то кружат спутники,
И луна могуче
В рыцарском нагруднике
Прошибает тучи.

И жестикулируя
Шумно и вульгарно,
Снег полемизирует
Со столбом фонарным.

И опять, с опаскою
В будущее глядя,

Пьем с тобой шампанское
В полночь в снегопаде.

Пьем вино мы колкое,
Чокаясь, мы вспомним —
С Новым Годом! (Сколько их!)
С Новым счастьем! (Что в нем!)

О хрусталь, красавица,
Хрусталем ударим!
Дай нам Бог управиться
И со счастьем старым.

Сергею Голлербаху

В музее современного искусства
Я сразу в вестибюле, сгоряча,
Со скрежетом, со шелканьем и хрустом
Откручиваю руку от плеча.

Я находиться здесь хочу по праву,
От атомного века не отстав,
Я спешно разбираю по суставам
Мой остеологический состав.

Развинчиваю колено,
Выламываю ключицу.
Субъект здоровенный
По лестнице мчится.

На нем всё глажено,
И галстук — спектр.
Он — взбудораженный,
И он — директор!

Вздыхнув утробно,
Он мне сказал:
— Вы допотопны,
Как динозавр!

Всё это грубо
И неприлично.
Всё это кубо-
Футуристично.

Вы — деревенщина,
Вы так бестактны:
У вас все — вещное,
А мы абстрактны.

Несите прочь свое добро,
Свое бедро, свое ребро —
Старо, старо!

Собираю кости понемножку.
Говорю, сконфузившись заметно:
— Обещаю — разобьюсь в лепешку,
Стану совершенно беспредметным!

Но, выпучив глаза,
Он заявляет: — Нет,
В лепешку нельзя,
Лепешка — предмет!

Но я продолжаю с чувством,
До слез директора трогая:
— Я так разобьюсь, клянусь вам,
Что останется место мокрое!

Он отвечает басом:
— Вот так бы и давно!
Разбейтесь, а мы раскрасим,
Человек — это пятно!

Спрашивал ответа
У лингвистов,
Как перевести
С языка ветра
На язык листьев?

Ветер только-только
По веткам
Проскакивает.
А листья тонко-тонко
От ветра
Позвякивают.

Верзила-ветер,
Поди спроси его,
О чем он по-петербургски грассировал,
А листьям казалось,
Что ветер с ними вальсировал.

Как перевести
С языка звезды расплесканной
На язык воды распластанной?

Смотрит звезда в водоем,
Влюбленные бродят вдвоем.
Каждый говорит о своем.
Каждый говорит о своем.

Как перевести,
Что мне говорят сады —
На язык моей ночной беды?

Как перевести, мой друг,
На язык вот этих строк
Веток стук,
Листьев говорок?

Что там — смех?
Или там плач?
Я, как на грех,
Плохой толмач.

Лужица сушится
У фонаря.
Над лужицей кружатся
Два воробья.

Может быть,
Говорит
Воробей воробью:
— Я тебя перепью, перепью!

А может,
Чирикают два воробья,
Ни о чем по сути не говоря.

Найдите-ка переводчика
Для этого разговорчика.

Вот сижу со всякими
Зеваками.
Приникаю к лунному лучу.
Даже с музой
Объясняюсь знаками,
Сам не знаю,
Что я бормочу.

ДУРАКИ

Жили-были дураки.
Жили — не тужили.
Недотепы, вахлаки,
Тюти, простофили.

Что ни скажешь дуракам —
В пол-лица улыбка.
Дураки по пустякам
Удивлялись шибко.

Эй, во весь широкий рот
Улыбнись, Ванюха,
Чтоб от уха в разворот
До другого уха!

И глядишь — на полчаса
Рот колодца шире.
Все для дурня — чудеса
В нашем Божьем мире.

И любили дураки
Всякие безделки.
Всё играют в городки,
В чехарду, в горелки.

А когда, случилось, лил
С неба дождик бурный —
Изо всех дурацких сил
Удивлялись дурни:

— Ишь накапало воды!
— Лезь купаться, Фомка!

Дураки на все лады
Восхищались громко.

Ну, а ежели дождя
Не было в помине —
Говорили, разводя
Лапами, разини:

— Удивительно, что вот
Совершенно сухо! —
И опять от уха рот
До другого уха!

Сколько раз они на дню
Заливались смехом!
Если пень — смеялись пню,
Если вехи — вехам.

Знать, обычай уж таков:
Покажи им палец —
Сразу сотня дураков
Рот разинет, плясь!

Для веселья тьма причин
Самых непостижных.
В дикий хохот дурачин
Приводил булыжник.

— Посмотри, какой кругляш!
Веса в нем полпуда! —
И дурак приходит в раж,
Словно видит чудо.

Чуть светало — из ворот
Выходили чинно.
И дивился на восход
Каждый дурачина.

Только стоило лучу
Брызнуть в отдаленны —
Проходил по дурачью
Шорох удивленья.

Тут ничем уж не унять
Дурьего восторга!
Солнце жалует опять,
И опять — с востока!

А когда горит закат,
Желт или пурпурен —
Дурень счастлив, дурень рад,
Очарован дурень!

Скопом сядут на бугор,
Дур своих облапят —
И глядят, глядят в упор,
Как пылает запад...

А когда, сквозь вороха
Туч едва наметясь,
То и дело полыхал
Белым светом месяц,

Иль являлся, просияв,
Меж ветвей корявых,

То у всех семи застав
Ахали раззявы:

— До чего же он смешон!
— До чего потешен!
— Да видать, что к небу он
На вожже подвешен!

Испокон у них в ходу
Был такой обычай:
Выбирать себе звезду,
В небо пальцем тыча.

Подымался тут галдеж,
Столько было спора:
— Петька, эту ты не трожь,
Эта — Никанора!

И такую чушь несут
С видом прекурьезным!
Даже был особый суд
По делам их звездным.

Надевал судья колпак.
И хитон лазурный.
(И судья-то был дурак,
И судились дурни...)

Плел судья такую речь
И такое ляпал,
Что от смеха просто лечь
Можно было на пол.

Всех смешил он под конец,
От его словечек
Хохотал вовсю истец,
Хохотал ответчик,

Прокурор и адвокат,
Секретарь и стражник,
Хохотала, севши в ряд,
Дюжина присяжных.

Так, хватаясь за бока,
Хохотали хлестко,
Что со стен и потолка
Сыпалась известка!

Хохотали крепко, всласть,
Хохотали густо,
Из-за хохота упасть
Умудрилась люстра!

Хохот-грохот, хохот-взрыв,
Хохот до упаду,
Хохотали, обвалив
С хоров балюстрада!

В смехе вздулся так один,
Ерзая на стуле,
Что срывались со штанин
Пуговицы пулей,

У него трясло живот
Смехом приглушенным,

Как будильники трясет
На рассвете звоном!

И казалось — из кишок,
Дребезжаще-тонок,
Вырывается смешок,
Верткий, как мышонок!

Тут гогочет, сам не свой,
Дурень среди гвалта,
Точно бьет по мостовой
С грохотом кувалда!

А другие — посмотри —
Изо ртов опухших
Ну совсем как пушкари
Ахают из пушек!

У судьбы был дивный дар
Толковать о звездах:
Раздуваясь, словно шар,
Он взлетал на воздух!

Тут уж хохот шел до слез,
До икот, до грыжи,
Кто-то хохотом разнес
Половину крыши!

Хохот, гогот, грохот, визг
По суду раскатом!
Забывал истец про иск
Вместе с адвокатом.

Хохот, грохот, гул и гуд
Шквалом и напором!
Забывал судья про суд
Вместе с прокурором.

Животы порастряся,
Отдышавшись еле,
Забывали всё и вся
О судебном деле.

Уходил домой дурак
Весел, беззаботен.
Провожал его собак
Лай из подворотен,

Долго слышался галдеж,
Выкрики орясин:
— Боже правый, до чего ж
Суд у нас прекрасен!

— И судья-то наш силен,
У него не путай!
— И летать умеет он,
Как пузырь надутый!

Жили-были дураки.
Много не грешили.
Недотепы, вахлаки,
Тюти, простофили.

Не грешили — ну а всё ж
И у дурней даже
Приключался и грабеж,
И дебош, и кражи.

Как прослышали, что взлом
Ночью у Егора,
Так и ловят всем селом
По дорогам вора.

А поймают — поведут
Посреди базара,
Не миндальничают тут —
По делам и кара!
Если, скажем, вор упер
С кухни медный чайник,
То за это будет вор
Небольшой начальник!

А сумел коня украсть
Где-нибудь ворюга —
То ему тотчас во власть
Целая округа!

И напрасно вор орет:
— Братцы, лучше плаха! —
И глаза его вот-вот
Вылезут от страха.

Дураки ему в ответ:
— Живо, лупоглазый,
Отправляйся в кабинет,
Отдавай приказы!

Будешь нами управлять,
Каждодневно мучась!
...На коленях молит тать,
Чтоб смягчили участь.

— Раз сподобило украсть —
Так ступай к ответу!
— На земле страшней, чем власть,
Наказанья нету!

Раз увидели в селе,
Как идет угрюмо
Человек, на чьем челе
Отразилась дума!

Он идет среди лотков,
Средь торговцев шумных...
Так в селеньи дураков
Объявился умник.

Вот на бочку он встает,
Кличет Ванек, Митек,
Созывает весь народ,
Объявляет митинг.

Говорит: ученье — свет,
Неученье — темень,
И про университет,
И про город Бремен,

И про это, и про то,
И про всё на свете,
И крылом на нем пальто
Раздувает ветер.

Он стоит во всей красе.
Говорит он: — Дурни,
Неотесаны вы все,
Все вы некультурны.

— Дурни, кто из вас закон
Знает Архимеда?

— Кто такой Наполеон?

— Кто живет в Тоledo?

— Где течет Гудзон-река?

— Что такое линза?

— Из какого молока

Делается брынза?

— Где вершина Арарат?

— Что такое синус?

— Есть ли в атоме заряд,

Плюс в нем или минус?

— Как доходит звездный свет?

— Кто разрушил Трою?

— Дурни! Университет

Я для вас построю!

— Дурни! Вам сама судьба

Шлет меня на благо.

Даже нет у вас герба,
Гимна нет и флага!

А без этого никак
В мире невозможно.
Будет герб у вас и флаг,
Гимн, рубеж, таможня!

Для того, чтобы враги
Вас не одолели, —
Вам наденем сапоги,
Выдадим шинели,

По ружью через плечо —
И в колонны стройся!
Отправляйся, дурачье,
Проявлять геройство!

Если, скажем, ты в стрельбе
Меток по мишеням,
То на ленточке тебе
Мы медаль наденем!

Представляете вы блях
Блеск на гимнастёрке? —
Дураки тут «ох» и «ах»,
Прыгают в восторге!

С той поры минуло лет,
Может быть, не мало...
Занял университет
Чуть не три квартала.

И теперь дурак глядит
Пасмурно-нахмурен,
Оттого что эрудит
Этот самый дурень.

Носит он воротничок,
Вид имеет светский,
На груди его значок
Университетский.

С неба дождик лей, не лей,
Ливень иль не ливень —
Не дивится дуралей!
Он не столь наивен.

Все науки превзойдя,
Знает в полной мере,
Как и чем процесс дождя
Вызван в атмосфере,

Знает, что с собой несет
Расщепленный атом
И кто царствовал в пятьсот
Девяносто пятом!

Он теперь не так-то прост,
Обтесался вроде,
И не выбирает звезд
Он на небосводе.

Но студент он иль солдат —
Сам не знает толком,

И теперь в него палят
Пулей и осколком.

И стоят на рубеже
У него орудья.
Но в суде давно уже
Не летают судьи.

Да и суд теперь суров,
Не дает он спуску:
Из суда везут воров
Сразу же в кутузку.

Только кару здесь несут
Не одни злодеи:
Дураков таскают в суд
Также за идеи...

Тьма событий на веку:
Учат, судят, ранят.
Не до смеха дураку:
Он ужасно занят.

И дурак совсем не рад,
И живет он в страхе.
Но зато на нем звенят
И сверкают бляхи.

Я с вами проститься едва ли успею.
Ракета на старте, и близится запуск.
Меня высылают на Кассиопею,
В какую-то звездно-туманную зябкость.

Еще я случившимся всем потрясен.
Себя донимаю вопросом невольным:
Зачем я отправился на стадион?
Как я очутился на матче футбольном?

Ракета рванется — и был я таков,
Меня понесет к фантастическим высям,
Не ждите моих телефонных звонков,
Не ждите моих телеграмм или писем.

Трагически выбросив руки вперед,
В толпу нападавших ворвался голкипер.
Сто тысяч людей на трибунах орет,
Сто тысяч качается с ревом и хрипом.

Как будто гремит на трибунах хорал
И сто Ниагар низвергается дико,
И как же случилось, что я не орал,
Что я не издал ни единого крика!

Умильно глаза к небесам возведя,
Мне так говорил на прощанье судья:
— Я счастья желаю вам в мире ином.
Вам нечего делать на шаре земном.

Вокруг меня злобою воздух сожжен,
Мотаются лица, гримасами пенясь,

Орут мне — стилияга, кричат мне — пижон,
Шипят — тунеядец, вопят — отщепенец!

Уже адвокаты меня не спасут,
Уже отреклись от меня адвокаты,
Уже надо мной показательный суд!
Повсюду собранья, повсюду плакаты.

Я враг человечества — я не орал,
Когда человечество дружно орало.
Меня посадили в тюремный подвал.
Я ночью на звезды гляжу из подвала.

И вот среди звездной сверкающей пыли
Уже я лечу небосводом ночным,
Как будто меня ослепительно вбили
В ворота вселенной ударом штрафным!

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

Державин

Да что я — бревно какое,
подхваченное рекою
смывающих всё времен.

А где-то рядом Державин
барахтается, забавен
и с участью примирен.

И все мы несемся скопом,
застигнутые потопом
мгновений, минут, веков.

И одинаков жребий
праведников и отребий,
гениев и пошляков.

Я времени не попутчик!
в потоках его шипучих
плыву вперекор ему,
Как бился я в рукопашной
с волною его вчерашней,
так с завтрашней бой приму.

И, подымаясь руслом,
я слышу, как время с хрустом
ломается изнутри.

Я время пробью — и двинусь
туда, где идут впереди нас
народы, царства, цари.

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

Эмигранты, хныкать перестаньте!
Есть где, наконец, душе согреться:
Вспомнили о бедном эмигранте
В итальянском городе Ареццо.

Из-за городской междоусобицы
Он когда-то стал невозвращенцем.
Трудно было, говоря по совести,
Уцелеть в те годы во Флоренции.

Опозоренный и оклеветанный
Вражескими ложными наветами,
Дважды по одним доносам грязным
Он заглазно присуждался к казни.
В городе Равенне, на чужбине,
Прах его покоится поныне.

Всякий бы сказал, что делу крышка,
Что оно в веках заплесневело.
Но и через шесть столетий с лишком
Он добился пересмотра дела.

Судьи важно мантии напялили,
Покопались по архивным данным.
Дело сочинителя опального
Увенчалось полным оправданьем.

Так в законах строгие педанты
Реабилитировали Данте!

На фронтонах зданий гордый профиль!
Сколько неутешных слез он пролил
За вот эти лет шестьсот-семьсот...

Годы пылью сыпались трухлявой.
Он давно достиг уже высот
Мировой несокрушимой славы.

Где-нибудь на стыке шумных улиц
В небольшом пыльно-зеленом сквере
Он стоял, на цоколе сутулясь,
Осужденный Данте Алигьери.

Думал он: в покое не оставят,
Мертвого потребуют на суд:
Может быть, посмертно обезглавят
Иль посмертно, может быть, сожгут.

Но в двадцатом веке, как ни странно,
Судьи поступили с ним гуманно.

Я теперь смотрю на вещи бодро:
Время наши беды утрясет.
Доживем и мы до пересмотра
Через лет шестьсот или семьсот.

Вот мои комнаты светлые, ясные.
Окна с огромными ветками ясеня.

Ваза на столик поставлена с розами,
В гости ко мне все друзья мои позваны.

Слышно, как ветки за окнами возятся.
Только у двери ни стука, ни возгласа,

Только уж слишком светло и торжественно,
Слишком возвышенно небо развешено,

Слишком он холоден, свет этот брызнувший,
Слишком прозрачный и слишком он призрачный,

Кажется — это не розы на столике,
А над хрустальной вазою сполохи.

Ваза, и розы, и ветки за стеклами,
Небо закатное с кровоподтеками, —

Сколько простора, и света, и воздуха!
Но ни один не явился из позванных.

Я разминулся с друзьями во времени,
Где-то они за окном, за деревьями,

За океаном, за всеми закатами,
Где-то затеряны, где-то запрятаны,

Может быть, даже вас нет на земле еще,
Круглой земле между звезд зеленеющей,

Где для меня было самое высшее —
Это мгновенье и это двестишье.

Может быть, встретимся где-нибудь в воздухе
На подвесном, на приснившемся мостике,

И покачаем по небу наискось,
Там, где осанисто плавают аисты.

Т. и А. Фесенко

Мой город грозный, город грандиозный,
Под небом звездным, сам, как небо, звездный.

Он весь в кометах, весь он в метеорах,
И сполохов на нем навален ворох.

В прожекторах, в светящихся рекламах
Он полыхает, как волшебный замок.

И Млечный путь не возгордился чтобы,
Есть Встречный путь — ночные небоскребы!

Каскадом, звездопадом, светопадом
Автомобили мчат по автострадам.

И проносясь в автомобильном гуде,
Мы за рулем кентавры, а не люди.

Аэропланы, блещущие хромом,
Соперничают с молнией и громом,

И океанский пароход нежданно
Просвечивает четверть океана,

И входит в порт качающимся, длинным,
В пять этажей пылающим камином.

А мы всю ночь валом куда-то валим
По вертикалям и горизонталям.

В такую высь нас поднимают лифты,
Откуда слышны ангелов молитвы.

Но лифтов металлические кубы
Не к ангелам несут — в ночные клубы,

Где джаз звенит на крыше небоскреба
И негр поет с завывом и захлебом.

Мы по ночам все выброшены вверх,
В какой-то многоцветный фейерверк

Арен, эстрад, экранов, галерей,
В мой город всех ветров и всех огней,

В мой город всех огней и всех ветров,
Где погибаем мы от катастроф...

Жил Диоген в бочке —
Битник прямой с виду.
Носил, подвязав шнурочком,
Латаную хламиду.

Лепешка да кружка воды
На камушке под рукой.
И окромя бороды —
Собственности никакой.

Простите, забыл совершенно:
Фонарь был у Диогена.

И этот чадящий снаряд
Таскал Диоген упрямый.
Что было, на мой взгляд,
Сущей саморекламой:

Дескать, народ, кумекай,
Куда это мы прем.
В поисках человека
Шествуем с фонарем.

Эх, Диоген, приятель,
Эх, Диоген, дружок!
Даром ты время тратил,
Зря фитили ты жег!

Послушай-ка, Диоген, —
Выброси свой рентген!

Зряшным ты занят делом:
Человек не бывает целым.

Человека на сто черепков
Время ломает сразу,
А потом в течение веков
Собирают его, как вазу.

Начнут собирать с осколка,
А этих осколков сколько?

Шел я Английским парком,
Осенью шел я мюнхенской —
И сероглазой баварке
Прямо в зрачки я плюхнулся.

Когда-нибудь вам придется,
Искатели черепков,
Вытаскивать, как из колодца,
Меня из ее зрачков.

Бессонно сереют лица,
И без единого проблеска
Всё еще где-то длится
Ужас ночного обыска,

И всё еще под наганом
Я у стены стою.
Где? Под каким курганом
Найдут эту ночь мою?

Какою землечерпалкой
Разворошат они
Набросанные вповалку
Ночи мои и дни?

И кто-нибудь интересной
Находкою изумлен,
Скажет: смотрите, треснул
По сердцевине он!

В пазухе темной ямы
Юность найдут мою.
Разве я тот же самый
В баре нью-йоркском пью?

Лихо бокалом звякая,
Празднично пью при свечах.
Со мною поэт — гуляка,
Бабник и весельчак.

Девочка из Боготы
Смеется за нашим столом,
И годы идут, как готы,
В снегу за ночным стеклом.

Звезды в бокалы капают,
Тонут в вине сиреневом,
И кто-то уже откапывает
Нас, занесенных временем...

Куда тебе, Диоген,
С твоею коптилкой зряшной!
Попробуй, найди мой день
Вчерашний иль позавчерашний, —

День, что уже прожит
И отбыл во тьму веков.

Кто же меня сложит,
Как вазу из черепков?

ДРАКОН НА КРЫШЕ

Сурово и важно
Ветки скрипят на весу.
Как деревьям не страшно
Ночью, одним, в лесу?

Валится тучи темная башня,
А им не страшно!

Птица ночная крикнет протяжно,
А им не страшно!

Ветром они ошарашены,
А им не страшно!

Только вздохнут тяжело,
Да месяц блеснет — стекляшка,
Словно смахнет слезу.

Как деревьям не страшно
Ночью, одним, в лесу?

А может — не в силах сдвинуться
И потому стоят, не бегут,
А я вот живу в гостинице,
А зачем — понять не могу.

Гостиница многоэтажна,
И мне в гостинице страшно.

Кругом какие-то темные шашни —
Страшно!

Заревом красным окно закрашено —
Страшно!

И чего я мытарюсь?
Пойду к нотариусу,
Постучу в дверь его.
Войду и скажу:

— Я хочу быть деревом!

Я хочу, чтобы было заверено,
Что такой-то, такой-то — дерево
И отказался от человеческих прав.

В зелень себя разубрав,
Он теперь стоит у ручья
На страже.

И ему по ночам
Не страшно.

ОТВЕТ

Попробуйте меня от века оторвать!
О.Мандельштам

Насмешливый голос
По телефонному
Проводу.

И все по тому же
Неугомонному
Поводу.

Стихи сочиняете?
Стали поэтом горластым.
Стихи начиняете
Всяким ненужным балластом.

Рычанья растративши,
В горле мозоли натерши,
Хрипит ваша муза —
Ораторша
И резонерша!

И локти притиснув,
Кидается в самую давку,
Торгуется с жизнью,
Стучит кулаком по прилавку!

Хрипи — не хрипи,
А чем дальше — тем хуже и хуже.
Поэзия — то, что внутри,
А не то, что снаружи!

— Мой враг телефонный!
Я всё это слышал частенько.
Хотите, чтоб я умиленно
И тенькал и тренькал?

Мне этого мало!
Поэт не рождается, чтобы
Копаться в анналах
Своей драгоценной особы.

Я здесь.
Я со всеми.
С моею судьбою земною.
Снаряд баллистический — время
Свистит надо мною!

И что мои ахи
И охи,
И все мои вздохи
В обвале и крахе
И грохоте целой эпохи?

Меня не отделишь
От времени. С ним не рассоришь!
Я сын его гульбищ и зрелищ,
Побоищ и сборищ!

Я сын его торжищ
И гноищ, позорищ и пиршеств!
Меня не отторгнешь
От времени. С мясом не вырвешь!

Ракеты, ощерясь,
Хрипят в межпланетных просторах,
А вы мне про шепот, про шелест,
Про лепет, про шорох?!

Лечу вышиною
Стремительно, губельно, круто —
И стих для меня — вытяжное
Кольцо парашюта.

Пробивают в асфальте дыру
И сажают в нее деревцо,
Чтоб шумело оно на ветру
И кидало мне листья в лицо.

И окно пробивают в стене,
Чтобы вставшая из-за моста
До рассвета качалась в окне
Голубая большая звезда.

Видно, так на земле повелось, —
У художника та же судьба:
Пробивают нам душу насквозь,
Чтоб запела душа как труба.

Птица бьет изо всех своих сил
Против ветра упрямым крылом.
Бог вселенную всю проломил,
Чтобы небо поставить в пролом.

Марианне Сапроновой

Море упрашивало: «Паша, Паша...»
Но Паша, должно быть, ушла домой,
И море, целую ночь не спавшее,
Разрыдалось белой-белой каймой.

А в море, у берега, жили
Камни большие-большие.

Там чайки хаживали
И купальщики.
Девочки пляжные,
Пляжные мальчики.

И по буграм каменистым
Звякало море монистом.

Когда гроза ломала шпаги
На сцене грозно-показной,
Я ставил птичку на бумаге.
Бог ставил чайку над волной.

На луне ни звука,
Ни шороха.
На луне ни друга,
Ни ворога,

Ни бурьяна,
Ни чертополоха.
Как нирвана —
Ни стога, ни вздоха.

Только тишь,
Только тени-громадины,
Только камень-голыш
Да впадины.

Небо смерклось.
Студеным мраком
Обложило со всех сторон.
Членистоногою раскорякой
Сел на поверхность
Луны
Аполлон.

Сел и выставил глаз-конус
На лунную оголенность.

На луне всегда — как перед бурей,
На луне всегда — как пред грозой,
Ни травинки,
Только бурый, бурый
Шлак,
Древнее, чем палеозой.

Даже воздух кажется массивным.
На луне всегда — как перед ливнем.

Только всё на луне неизбывно,
Всё застыло, и сдвинуть нельзя.
Не бывает ни бури, ни грома, ни ливня,
Ни грозы, ни дождя.

Только душный сияющий чад,
И в чаду этом душном стучат
И звучат
Небывалым концертом,
Сонатой Аппассионатой,
Сердце с сердцем —
Сердца астронавтов.

Ты, земля, пролетаешь во мраке,
Звезд блестит над тобою пыльца.
На тебе, точно красные маки,
Расцветают сердца.

Ты сердца, как букеты,
На другие бросаешь планеты.

И своими сердцами
Миры наделя,
Как дарами,
Твои дети,
Земля,
Играют шарами-мирами.

СО ДНА

Сергею Бонгарту

За день выжало, уморило.
Шторы наглухо! Дверь замкну!
Погружается субмарина
В океанскую глубину.

Люк завинчивай впритирку,
Закрывай иллюминаторы,
Я забьюсь в свою квартирку,
Как на дно упрятанный.

На житейскую поверхность
Перископ не выставлю,
Ослепительно низвергнусь
В темень аметистовую.

Я нашел себе страну
Ту, что научилась
Погружаться в глубину,
Точно Наутилус.

И пускай в подводном иле,
Отдаваясь гулами,
Шастают автомобили
Темными акулами,

И кидаются в меня
Световыми сваями, —
Комнатушечка-броня,
Ты непробиваема!

Ты непробиваема,
Ты неуязвима!
И акулы стаями
Проплывают мимо.

Мне не надо ЛСД
Или кокаина.
Я ночью на звезде
Из аквамарина.

Жил на пятом этаже,
Да уплыл с квартирою,
И на дне морском уже
Я фосфоресцирую!

Я плыву подводной спальнею,
И до утренней зари
На поверхность социальную
Я пускаю пузыри.

А ученый дяденька,
Чистенький и гладенький,
Где-то в кабинетике
В дебрях кибернетики.

У приборов топчется
Бородатый агнец.
И больному обществу
Ставит он диагноз.

«В наш период атомный
Для леченья сердца, —
Говорит он, — надобны
Взрывчатые средства!
Этим человечество
Сразу же излечится!
Людам в наши времена
Помогает дивно
Туча, ежели она
Радиоактивна!
Приходите все погреться
В золотых лучах прогресса!»

Он, как петрушка площадной,
Выскакивает над страной.

И, щупленький и сухонький,
С морщинками на личике,
Он сам себе на кухоньке
Поджаривает блинчики.

Но хоть пожить он любит вкусно,
Хоть любит чай с вареньем он,
Как современное искусство
Почти что он развоплощен.

Почти прозрачен,
Совсем спрессован,
Он не иначе
Как нарисован.

Но взрывы так красноречивы,
Что все кругом потрясено,

И до меня доходят взрывы
На аметистовое дно.

Я знаю: вселенная где-то изогнута,
И Бог по вселенной гуляет инкогнито.

А тут человек, непонятный, как призрак,
Швыряется взрывами в огненных брызгах!

И я убегаю побежкой волчьей
И прячусь за всей океанской толщей.

Ночной темнотою укрыт, как щитом,
Я выдумка тоже. Я тоже фантом.

Я тоже нелепица, дикость, абстракт,
И снюсь я кому-то сквозь лунный смарагд.

И я, уходящий все глубже и дальше,
И тот — на поверхности жизни — взрывальщик —

Далеким потомкам в столетье ином —
Покажемся оба чудовищным сном.

Но знаю: меня они все-таки вспомнят,
Заглянут ко мне в аметистовый омут,

Моим одиночеством темным звеня,
Как груз потонувший, подымут меня.

Вы говорите, якобы
Поэты одинаковы.

Попробуйте всмотреться —
По-разному отмечены:
Тот пишет кровью сердца,
А этот — желчью печени.

Кто пишет потом, кто слезой,
Кто половиною железой.

Один, как бас-профундо,
Гудит на вас простудно.
Другой берет одни верхи
Нежнейшим колокольчиком,
А я, мой друг, пишу стихи
Глазного нерва кончиком.

А что мне делать с красотой,
В мои глаза накиданной?
С такой крутой, такой литой,
С такою неожиданной?

ГИМН ЦЕНЗОРУ

Цензор!
Ты надо мной, как Цезарь.
Я грезил,
А ты резал!

Режь меня,
Грешного!
Не печалься —
Ты же начальство!

Ты — единственный
Из земных детей,
Знающий истину
Во всей ее полноте.

Поэт со стихом носится!
Радуется — сочинил!
Но у тебя ножницы
И бочка красных чернил!

Ты,
Преданный
До глубины души
Своей эпохе,
Тебе ведомо,
Какие стихи хороши,
Какие плохи.

Ты даже
На вздохи ветра
Накладываешь вето!

Мерой твоей мерим!
Курс на тебя берется!
Ты облечен доверием
Мудрого руководства.

Целовал я дамочку
(С каждым может случиться)
И в подколенную ямочку,
И в ключицу!

Но ты, с наскоку
Ринувшийся в баталию,
Крикнул: целуй в щеку!
Руку клади на талию!

И сразу же я, опомнясь,
Провозгласил скромность!

Нравился мне
Вольный стих,
Непроизвольный стих!
Но ты закричал:
Никаких вольностей!
И я стих!

Обещаю
Не быть неряхой,
Резать строки
Ровно, как сельдерей!
Да здравствует
Амфибрахий,
Анапест,

Дактиль,
Хорей!
Я буду бряцать лирой,
А ты — меня контролируй!

Ты укажи поэту,
Что подлежит запрету,
И сообщи заодно,
Что славить разрешено.

Ты, кто мудр и непогрешим,
Светом своим осени нас.
А мы стихи писать поспешим
Распивочно и навывнос.

В тяжелых звездах ночь идет,
И город в новый снег наряжен.
И вот уже минувший год,
Как нож, по рукоятку всажен.

Встречаю годы, как ножи,
Да здравствует семидесятый!
На звездах, ночь, поворожи
И с новым лезвием сосватай!

Уже к ножу питая нежность,
Уже собой не дорожа,
Я пью за остроту и свежесть,
За дружбу розы и ножа.

Обернемся на минуту,
Прошное подстережем.
Рубят голову кому-то
Гильотиною-ножом,

И в кого-то с исступленьем
Загоняют штык насквозь —
Чтоб грядущим поколениям
Очень счастливо жилось.

Так во имя светлых далей,
Под всемирный визг и рев,
В море Черное кидали
Офицеров с крейсеров.

А теперь мы время сплужим,
В день сегодняшней войдя:
Поколением грядущим
Вдруг оказываюсь я.

И выходит, как ни странно, —
Всё стряслось из-за меня:
Трупов целые монбланы
И великая резня.

Шли кромешной чередою
Эти черные дела,
Чтобы жизнь моя звездою
Небывалой расцвела.

Чтобы стал мой жребий светел,
Чтобы мне удач не счесть!
Может быть, я не заметил?
Может, так оно и есть?!

ГИМН ЦЕНЗУРЕ

А.И. Солженицыну

Ошметки Жданова
И Семичастного
Сидят и планово
Шипят, начальствуя.

Как соблазнительно
Пойти с рогатиной
На Солженицына
В поход карательный!

Куски выхватывай!
Погром устраивай!
И у Ахматовой,
И у Цветаевой!

Рассказ ли Зошенко,
Статья ль Некрасова —
Единым росчерком
Пассаж выбрасывай!

Побольше плоского,
Поменьше резкого,
Режь Заболоцкого
И Вознесенского!

Тут обязательный
Уполномоченный -
И на писателя
Топор отточенный!

У Достоевского
Дневник оттяпан,

Ничем не брезгают
Герои кляпа.

Они конклавом
Стоят суровым,
Как волкодавы,
Над Гумилевым.

Тут столько вбухано
Труда казенного
На Солоухина
И на Аксенова,

На Винокурова
И Евтушенко —
Эй, не придуривай,
А стой в шеренге!

Чтоб не протаскивать
Им слова броского —
Упечь Синявского!
Приструнить Бродского!

Ах, Окуджава
И Ахмадулина!
Тут ваша слава
Подкараулена!

Тут над горячим
Российским словом
Главлит с подьячим
Средневековым,

Главлит с чинушей
Кувшиннорылым,
Главлит, тянувший
Полвека жилы!

Пускай на свете
Ты первый гений —
Тебя просветят,
Как на рентгене!

Казенных строчек
Сидит подрядчик,
Сидит начетчик
И аппаратчик,

А сам он смыслит
В делах искусства,
Как коромысло
Или лангуста!

Перед партийной
Халтурой плоской
Благоговейной
Виляет моськой.

А с Мандельштамом
И Пастернаком
Под стать упрямым
Цепным собакам.

Здесь от бездарной
Цензуры вздорной
Воняет псарней
И живодерней!

Я прыгнул из окна,
Но не сорвался вниз,
А в воздухе повис,
Как радиоволна.

А в комнате остались
Часы и календарь.
Там тень моя, состарясь,
Глядит в окно, как встарь.

А я вверху, в вечернем
Сиреневом дымке,
А я в четырехмерном
Воздушном гамаке

Плыву, как астероид,
Сиянием дразня.
Вы можете настроить
Приемник на меня.

Я — звездный зазывала.
Скользя по облакам,
Я шлю мои сигналы
Таким же чудакам,

Мечтателям, поэтам,
Захватчикам высот,
Кто сам себе планета
И свет в себе несет,

Кто не в ладах с причалом,
Кто кружит одинок
По кривизнам печальным
Отверженных дорог.

Я стою под березой двадцатого века.
Это времени самая верная веха.

Посмотри — на меня надвигаются ветки
Исступленнее, чем в девятнадцатом веке.

Надо мною свистят они так ошалело,
Будто шумно береза меня пожалела,

Словно знает береза: настала пора
Для берез и поэтов — пора топора.

Словно знает береза, что жребий наш черен,
Оттого, что обоих нас рубят под корень,

Оттого, что в каминах пылают дрова,
Оттого, что на минах взрывают слова.

Я стою — и тоски не могу побороть я,
Надо мною свистят золотые лохмотья.

Вместе с ветками руки к потомку тяну я,
Я пошлю ему грамоту берестяную.

И правдиво расскажет сухая кора
Про меня, про березу, про взмах топора.

Мы далеки от трагичности:
Самая страшная бойня
Названа культом личности —
Скромно. Благопристойно.

Блекнут газетные вырезки.
Мертвые спят непробудно.
Только на сцене шекспировской
Кровь отмывается трудно.

Всем и каждому у нас одна дорожка,
Жизнь устроена, как русская матрешка.

Всё едино — правит хамство или барство,
Сверху грубая матрешка государства.

А попробуй приоткрыть ее немножко —
В ней торчит национальная матрешка,

А внутри ее лежит — как ты ни цыцкай! —
Пеленашечка матрешки большевицкой!

Но и это — только ложная обложка,
В ней культуры нашей вложена матрешка.

Открываешь — удивляешься сверх меры —
В ней матрешка православной нашей веры,

А потом пойдут сниматься, как одежды,
Родовые и семейные матрешки,

И в какой-нибудь матрешке двадцать пятой
Я покачиваюсь, голый и мохнатый.

Даже сел у столика,
Откусил печенье,
Говорит о коликах
И о их леченьи.

Надо всем и каждому
Иметь такую скважину,
Чтобы, развертывая оперенье,
Прыгать в четвертое измеренье!
Чтобы из мертвого одуренья
Прыгать в четвертое измеренье!
Чтобы из чертова столпотворенья
Прыгать в четвертое измеренье!

На скамейке без подстилки
Спишь, свернувшись колом,
И порожние бутылки
У скамьи стоят рядком.

Ангел в синем вицмундире
Наклонился над плечом.
Он с дубинкой в этом мире,
Как он в мире том с мечом.

Он заявит строгим тоном,
Наказанием грозя,
Что, согласно всем законам,
На скамейке спать нельзя.

И пойдешь ты, ковыляя,
Под деревьями в тени.
Так изгнание из рая
Происходит в наши дни.

Брошу в церковь динамит,
Стану сразу знаменит!

Десять лучших адвокатов
Защитят меня в суде,
Все концы умело спрятав
В мутно-розовой воде.

Сам судья, простив заране,
Улыбнется нежно мне,
Расплавясь, как блин в сметане,
В благодушной седине.

Я в числе сограждан видных —
Интервью за интервью;
Я о планах динамитных
С увлеченьем говорю!

От моей лохматой хари
Телевизоры в угаре!

С грандиознейших афиш
Я показываю шиш!

Так и лезут все из кожи
Напечатать мой портрет!
Я украсил наглой рожей
Тьму журналов и газет.

Мне восторженные дамы
Присылают телеграммы
С предложеньями любви!

Показания мои
Голливудский воротила
Закупает все сполна,

Чтобы фильмы накрутила
Голливудская шпана.

Как меня освободят —
Будет в честь мою парад!

Я на радостях подкину
В ясли адскую машину!

Бомбу брошу в детский сад!

Лидии Шаляпиной

На проспекте сносят дом.
Старый дом идет на слом.

Сокрушая непрестанно
Дома пыльное нутро,
Стенобитного тарана
Свищет в воздухе ядро.
Оседают, грохоча,
Пирамиды кирпича.

Обнажается проем,
Где сидели мы вдвоем
За обеденным столом.
Все на слом идет, на слом.

Вот и нет окна уже
На четвертом этаже,
Освещенного луной,
С папиросою ночной,
С переливчатым стеклом.
Все на слом идет, на слом.

Только сердце непременно
Хочет всё на старый лад —
Там, где выломлены стены,
Люди в воздухе висят.

Люди ходят, люди курят
В высоте и в пустоте,
А на самой верхотуре
Позабылись двое те,

Будто плавают в воде
Иль подвешены к звезде.

И становится мне страшно
Этой выси голубой,
Где качаюсь я вчерашний
Над сегодняшним собой.

Где-то там, вверху, в проломах,
Я остался в прошлых днях,
Я запутался в объемах,
Я застрял во временах.

Это сердце дни и ночи
Глухо хлопает крылом
И минувшего не хочет
Ничего отдать на слом,
И из сил последних самых
Подымает надо мной
Памяти воздушный замок
Там, где рухнул дом земной.

СОВРЕМЕННАЯ БАЛЛАДА

Завязка баллады моей коротка:
В лифте злодей удушил старика.

Лунным сиянием взмылен,
Кричал романтический филин.

Вернее, была витрина
И чучело филина пыльное, дымнолохматое
Средь рухляди всякой старинной.
Сиянье неоновой трубки голубоватое, матовое.

Крики. Свистки.
Луна-маскировщица.
И толпа на куски
Растрезала злодея у лавки старьевщика.

...Кусок окровавленный
Уволок сверхпрославленный
Фильмовой постановщик,
Поставщик поножовщин!

А ногу отгрыз хореограф.
Он даже от радости плакал.
Из дел, исключительно мокрых,
Он ставил балетный спектакль!

А прозаик кровью налился,
Человечины налопался, —
Влез путем психоанализа
В суть злодеевского комплекса!

И кусок в полпуда весом
Драматург урвал для пьесы!

Вместо старых действий
(Для чего считать их?)
Пьеса в трех убийствах
И в шести кроватях.

Тема-то какая!
«Кокаин и Каин».

Вгрызались в месиво пунцовое,
Над трупом чуть не подрались,
И вот последним кость берцовую
В зубах уносит журналист!

Но ни в одной строке
Ни слова о старике.

В свете современности
И научных книг
Не представляет ценности
Удушенный старик!

А ему того и надо,
Раз баллада, так баллада,
И ко всем этим сволочам
Он является по ночам.

Подберется тихо сзади
И огреет по крестцу!
Разрешается в балладе
Развлекаться мертвецу.

Проходил я через зал, через зал.
 Я поэт и фантазер, фантазер.
 Подошел я к режиссеру и сказал:
 — Уходи и не мешай мне, режиссер!

Только знаю — не уйдет, не уйдет.
 Он стоит и говорит, говорит.
 — Лучше руку ты протягивай вперед,
 Принимай-ка поторжественнее вид!

Сколько раз мне повторять, повторять:
 Мне не нужен твой урок, твой урок.
 Но мне слышится опять и опять
 Режиссерский говорок, говорок:

— В этом месте нажимай, нажимай!
 Без нажима не проймешь, не проймешь! —
 Я послушался — хватил через край,
 И стихи я загубил ни за грош!

Пусть у каждого дорога своя,
 Дайте каждому полет и простор!
 Отвяжись ты, отвяжись от меня,
 Не мешай мне, не мешай, режиссер!

Но он где-то возле стен, возле стен
 Продолжает тарахтеть, тарахтеть,
 И в квадратики его мизансцен
 Попадаю я, как перепел в сеть.

Был когда-то я удал-разудал,
 По колено были все мне моря,

Но я чувствую, что куклою стал,
Кто-то дергает за нитку меня.

В один голос недрузья и друзья
Утешают: «Ничего, ничего,
В том и выразилась драма твоя,
Что игралась в постановке его!»

Т. и А. Фесенко

Чучелом в огороде
Стою, набитый трухой.
Я — человек в переводе,
И перевод плохой.

Сколько я раз, бывало,
Сам себе повторял:
— Ближе к оригиналу! —
А где он, оригинал?

Оригинал видали, —
Свидетели говорят, —
В Киеве на вокзале,
Десятилетия назад.

Кругом грохотал повальный
Артиллерийский гул.
В зеркале вокзальном
Оригинал потонул.

Ворошить не хочется
Давние дела.
Наспех судьба-переводчица
Перевела-наврала.

Я живу на расстоянии
От страны моей студеной.
Я живу — на заикание
С языка переведенный.

И живу я в переводе
С неустройства на уют.
У меня на стол по моде
Со свечами подают.

И внутри моей машины
Мягкие сидения.
Я переведен на шины
С пешего хождения.

Без особого урона
Мой испуг переведен
С лозунгового жаргона
На рекламный жаргон.

Точно бред политбесед,
Распродаж ажиотаж!
Пунцовею, разогрет,
В пот меня кидает аж!

В оригинале — откровенье,
А в переводе — подражанье,
В оригинале — вдохновенье,
А в переводе — прилежанье!

В оригинале — на восходе,
И на закате — в переводе!

И по прямой — в оригинале,
А в переводе — по спирали!

И я волшебник по природе,
А литератор — в переводе,

В оригинале я — на взводе,
Навеселе в оригинале,
А на режиме в переводе,
И переводу до вина ли?

Скользило время еле слышным,
А стало звонче междометья,
В оригинале — двадцать с лишним,
А в переводе — полстолетья!

У ПАМЯТНИКА МАЯКОВСКОМУ

Стих отгремел последний —
И над Россией
Стоит он —
Двадцатидвухлетний,
Стоит красивый!
Стоит бронзовый,
Стоит каменный,
И небо над ним
Розовой храминой!

Был бы памятник, а найдутся
Голуби и вольнодумцы!

Руки в карманы сунувши,
Глаза подымая вверх,
Читают сердитые юноши
Стихи про атомный век,
Про атомный, про урановый
Читают, сердца протаранивая!

Гневные, запальчивые
Девочки и мальчики
Выходят, как на подмости,
А сверху над головой
Памятник-Маяковский
Слушает, как живой.

От стихов в столетьи атомном
С ног диктаторы не валятся,
Но когда-то и на мамонтов
Выходили люди с палицей!

Клыкастых мамонтов
Косматые массивы —
Кому они ныне памятни?
А люди и ныне живы!

Девочки в скромном ситчике,
В открытых рубашках мальчики —
Вот они, — динамитчики,
Перовские, Кибальчичи.

Восторженные девчата,
Поэты неряшливые —
Вот — взрывчатка
Самая страшная!

В кабинетах и президиумах
Облысевшие держиморды —
Видимо-вас-невидимо
Расселось балластом мертвым!

А солнце проглядывает,
Рассвет дымит!
Это под вас подкладывают
Мальчики — динамит!

ГРИНВИЧ ВИЛИДЖ, 1970

Ходят парни, увешаны бляхами.
Ходят девки в штанах раструбом.
И на шеях болтаются, брякая,
Амулеты с акульим зубом.

Грозные лица пророков,
Лица марий магдалин.
Но в сердцах не шумит у них вереск долин,
А гремит
Динамит
И пироксилин.

Эх! Поднять бы на воздух
Купол со знаменем в звездах!

Эх! Разнести бы в куски
Всё от доски до доски!

Чтобы в зареве багряном
Зубья высились руин.
ЛСД.
Марихуана.
Кокаин.
И героин.

А у папенок, а у маменек
По десять домов каменных!

В банках тыщи,
Порядок заведенный,
И океаны скучищи
За каждой тарелкой обеденной.

И на папаш
Дети глядят брезгливо:
Дескать, родитель наш
Пышно созрел для взрыва.

Папашу на бочку пороховую,
Да запалить фитиль!
И сразу же Синюю птицу живую
Поймают Тильтиль и Митиль.

Я в жизнь прославляю веру —
Жить не разнравилось мне.
Подыскиваю пещеру
На солнечной стороне.

После великого взрыва
Великим пойдем путем:
И колесо, и огниво
Снова изобретем.

Занавеска над ванной, как парус.
А я в ванне сижу и купаюсь.

Я блаженствую, я разомлел.
Моя очередь жить на земле.

Я купаюсь, я мылюсь, я парюсь,
Надо мной занавеска, как парус.

Я смотрю, как искристая пена
Угасает на мне постепенно.

Уплывает в парах моя ванна
С занавескою из целлофана,

Уплывает средь пара и плеска
Целлофановая занавеска.

Я блаженствую, я разомлел.
Моя очередь жить на земле.

Моя очередь спать и проснуться,
Пить чай из цветастого блюда.

Я свой собственный важный посол,
Уплывающий в мыльный рассол,

Я министр без штанов и портфеля,
Простофиля и пустомеля,

Моя очередь жить нараспашку,
Нализаться в веселой компашке,

Чтоб в звенящем, блестящем бокале
Далматинские звезды мигали,

Чтоб луна мне казалась гримасы
(Занавеска звенит из пластмассы).

А луне холодок нипочем.
Так и прет с оголенным плечом.

За окном океаны косматы
(Занавеска дрожит из пластмассы).

И меня пролетающий ангел
Поливает из лунной лоханки.

Звезды сваркой спят автогенной,
Звезды падают мыльной пеной,

Занавеска, как парус, над ванной,
А я в ванне блаженный и пьяный.

Блещет осень окалиной
На листве жестяной.
В беспорядке навалены
Облака надо мной.

И деревья вдоль длинного
Пролетают шоссе
В серо-буро-малиновой
Одичалой красе.

В легковом, темнолаковом
Я носился авто,
Я тоску уволакивал
Километров на сто,

Чтоб все беды и горести
На прогоне сквозном
Горизонтом и скоростью
Заливать, как вином.

Ходит ветер задирую,
Лист мелькает, багрян,
И закат спроектирован
На широкий экран.

Листья машут и кружатся,
И летят, и летят,
И охваченный ужасом,
Я влетаю в закат.

Мы летим вверх тормашками —
И машина, и я,

Грохотаньями тяжкими
Тишину раскрыя.

У какой-то обочины
Я сиянием стал,
И в куски развороченный
Разлетелся металл.

...Вся дорога осенняя
В красноватом чаду.
Никакого сомнения,
Что уже я в аду.

И в авто темнолаковом
Я плыву по шоссе,
День и ночь одинаково
Шебуршит в колесе.

И в сидении кожаном,
Погружась с головой,
Я сижу подытоженный,
Как баланс годовой.

Автострада протяжная
Предо мною легла,
И какие-то важные
У меня есть дела,

А у туч — фиолетовый
Или розовый цвет.
Право, дела до этого
Никакого мне нет.

Непрерывно по радио
Слышу я репортаж.
Непрерывно в досаде я
На осенний пейзаж:

Ну какой же от осени
Человечеству прок?
Только листья разбросаны
У шоссейных дорог.

Восседаю подтянутый.
Мы такие тут все.
Мы серьезны. Мы заняты.
Мы плывем по шоссе.

Мы солидные личности.
Каждый грузно-суров.
Никакой хаотичности.
Никаких катастроф.

Л. и Г.Ржевским

Ваш дом — он весь в зеленых пасмах,
С лесной чащобою в родстве,
И подымает солнце на смех
Прореху каждую в листве.

Тут озеро совсем под боком,
И слышно, как из тихих вод
Вдруг щука, вымахнув с подскоком,
В осоке радостно плеснет!

А в озере — десятки тысяч
Слепящих солнечных огней...
Закинем, Леонид Денисыч,
На двухфунтовых окуней!

Люблю я, удочку забросив,
Почувствовать, как там, весом,
Усатый, точно Франц-Иосиф,
Уже барахтается сом!

Уютно тарахтит моторка,
И парит августовский зной,
И наполняется ведерко
Блестящей тварью водяной.

Тут скромно поверяет автор
Свои мечтания стиху
О том, что Ганя сварит chowder,
А по-русскому — уху.

На меня налетает велосипед,
И водитель осоловело сопит.

Начинается мой коридорный кошмар.
Разрывается рядом резиновый шар.

Точно выбит ударом лихим из седла,
Я лечу, ударяясь об угол стола.

Ах, зачем на пути повстречался моем
Этот вал крепостной, этот рыцарь с копьем?

А вокруг беготня, а вокруг толкотня,
И медведь из-за кресла глядит на меня,

Надвигается смех, расстиляется смех,
Смех пушистый, и мягкий, и теплый, как мех.

Здесь проходят по комнатам, как по лесам,
Это сказочный мир — и я сказочный сам.

Это сын мой — трехлетний тиран-феодал —
По квартире игрушки свои раскидал.

Я сегодня прочитал за завтраком:
«Все права сохранены за автором».

Я в отместку тоже буду щедрым —
Все права сохранены за ветром,

За звездой, за Ноевым ковчегом,
За дождем, за прошлогодним снегом.

Автор с общественным весом,
Что за права ты отстаивал?
Право на пулю Дантеса
Или веревку Цветаевой?

Право на общую яму
Было дано Мандельштаму.

Право быть чистым и смелым,
Не отступаться от слов,
Право стоять под расстрелом,
Как Николай Гумилев.

Авторов только хватило б,
Ну, а права — как песок.
Право на пулю в затылок,
Право на пулю в висок.

Сколько тончайших оттенков!
Выбор отменный вполне:
Право на яму, на стенку,
Право на крюк на стене.

На приговор трибунала,
На эшафот, на тюрьму,
Право глядеть из подвала
Через решетки во тьму,

Право под стражей томиться,
Право испить клевету,
Право в особой больнице
Мучиться с кляпом во рту!

Вот они — все до единого, —
Авторы, наши права:
Право на пулю Мартынова,
На семичастных слова,

Право, как Блок, задохнуться,
Как Пастернак, умереть.
Эти права нам даются
И сохраняются впредь.

...Все права сохранены за автором.
Будьте трижды прокляты слова!
Вот он с подбородком, к небу задранным,
По-есенински осуществил права!

Вот он, современниками съеденный,
У дивана расстелил газетины,
Револьвер рывком последним сгреб —
И пускает лежа пулю в лоб.

Вот он, удостоенный за книжку
Звания народного врага,

Валится под лагерною вышкой
Доходягой на снега.

Господи, пошли нам долю лучшую,
Только я прошу Тебя сперва:
Не забудь отнять у нас при случае
Авторские страшные права.

АМНИСТИЯ

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.

Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.

Ну, а если он умер, —
Наверное, жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой
Проволокою
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.

Верно, тоже на пенсию вышел.

А если он умер,
То, наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.

Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.

Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.

Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.

От житейских толчков
Защищая бока,
Я в бюро двойников
Заказал двойника.

Кто-то кнопку нажал
На сигнальной доске,
Розоватый накал
Засиял в волоске,

Замигали огни,
Засветились щитки,
Ураган трескотни,
И свистки, и звонки —

Но уже через миг
Улеглась трескотня,
И стоит мой двойник
И глядит на меня.

Тот же нос, тот же рот,
Тот же лоб, та же плешь,
Так же руку дает,
Все движения те ж.

Он пойдет в институт,
И он сядет за стол,
А студенты придут —
Он поставит им кол.

Он приедет домой
Обозлен, раздражен,

И с моею женой
Будет ссориться он.

Будет ездить в метро,
Будет есть, будет пить,
На помойку ведро
Будет он выносить.

Ну, а я между тем
Заживу, как паша,
Не печалюсь ничем,
Никуда не спеша.

Я себя охраню
От врагов и друзей,
И я печень мою
Завещаю в музей.

Не оставят на ней
Ни малейших следов
Огорчения дней
И печали годов.

Вышла такая гадость —
Прямо ругаться хочется:
Я позабыл свой адрес.
Забыл свое имя и отчество.

И, озираясь гибло,
Города не узнаю.
Видно, вконец отшибло
Бедную память мою.

А может быть, где-то рядом,
Стоит мне сделать шаг —
И за бетонным фасадом
Отыщется мой очаг.

Как памятник на граните —
Величественно-мастит, —
Порядка стоит блюститель,
И бляха на нем блестит.

И я говорю: «Начальник,
Я в толк никак не возьму...»
Я о делах печальных
Рассказываю ему.

— Нет у меня покоя,
Жив из последних сил
С тех пор, как забыл я, кто я,
Как имя свое забыл.

Но не забыл, не забуду
Квартиры моей уют.

Стены ее повсюду
Передо мной встают.

В мешке из красного шелка
Расхаживает жена,
Глиняная на полку
Лампа водружена,

И только войдешь — в гостиной,
Сразу наискосок,
Известнейшая картина —
Копия Пикассо.

Шкаф с дорогим сервизом
По-модному застеклен.
Радио. Телевизор.
Кресло. Магнитофон.

Просьбе моей мгновенно
Блюстителю порядка внял:
Взял — и переднюю стену
Огромного дома снял.

Открылись квартиры-дыры —
И я возопил в тоске:
Глядит из каждой квартиры
Женщина в красном мешке.

Одной и той же картины
Торчит отовсюду кусок!
Свисает из каждой гостиной
Копия Пикассо.

И всюду — сверху и снизу,
Сбоку, со всех сторон —
Радио. Телевизор.
Кресло. Магнитофон.

Я с криком бегу по спальням
От этажа к этажу
И женщинам всем нахально
Прямо в глаза гляжу.

Но всем этим красным теткам
Вовсе я незнаком...
И вот я уже за решеткой
С тяжеловесным замком.

Жена, ты меня не сыщешь —
Будешь искать без конца:
Здесь одиночек тыщи,
Все — одного образца.

Тут каждый из нас на досках
Перед столом сидит.
На каждом — фланель в полоску.
Наголо каждый обрит.

А вдруг и за гробом тоже
Не свидимся мы с тобой?
Я слышал, что души схожи
С дымкою голубой.

На что мне в безликом дыме
Безликое бытие?
Отдайте мне имя, имя,
Отдайте мне имя мое!

Осень. В воздухе пахнет горелым.
Кто-то листья, наверное, жжет.
Плыть деревьям — моим каравеллам —
В новый свет, в новый снег, в Новый Год.

Синеватого неба обломки
Колыхаются над головой.
Листья, как при замедленной съемке,
С веток наземь текут по кривой.

Что ж! нам правду сказали, пожалуй,
Что красна даже смерть на миру.
Покружись, мое сердце, побалуй,
Покрасуйся и сгинь на ветру.

Слышно, как далеко вагонетки
У портовых причалов скрипят.
Вместе с небом качаются ветки.
Листозвон. Листолет. Листопад.

Операционный стол.
Операционный зал.
Лежу совершенно гол.
Кто-то меня связал.

И надо мною юрко
Орудуют два хирурга.

А над халатами, марлей, ватой —
Лампы в три обхвата,
Как световые залпы
Сквозь снеговые Альпы.

И у меня под скальпом
Уже шевелится скальпель.

А в операционном зале
Еще нескольких привязали.

Ампутация памяти.
За пластом удаляют пласт.
Говорят, что в душевном орнаменте
Память — ненужный балласт.

И хозяйничая после
В опустелых черепах —
Насуют идей о пользе
Разведенья черепах!

Возвращусь я из больницы —
Черепеха мне приснится!

Был когда-то Микеланджело.
(Вырезали. Зажило.)
Пушкин. Бах.
(Зажило, как у собак!)

Мы теперь попахиваем
Супом черепаховым!

До чего же легко мне!
Ни разлук, ни могил!
Целовался с кем — не помню,
Где родился — позабыл.

Никаких душевных трещин!
Безопасен я для женщин:

Ни малейшего риска!
Не умен, не блестящ,
Даже можете в химчистку
Отдавать меня, как плащ!

Я теперь живу в комфорте,
Точно взятый напрокат,
Изготовленный в реторте
Человекофабрикат.

Покупатель: Уже предвижу перемену,
Отныне мне у дам почет!
За это я любую цену
Вам заплачу — подайте счет!

Продавец: У нас не счет. У нас за счет:
За счет ума, за счет учености,
Изысканности, одаренности,
Известности, незаменимости —
Всё это, впрочем, отвлеченности,
В них нет большой необходимости.

Покупатель: Ну это как сказать! Хотелось бы,
Чтобы мой ум остался в целости!
Я не согласен и на полчаса
Быть темпераментным оболтусом!
У вас товара столько разного,
И, верно, есть запасы разума...
И, милый, в виде компенсации
Примите эти ассигнации!..

Продавец: Помилуйте, мы рады сами
Снабдить вас прочными мозгами,
Но нас валюта не влечет:
Мы вас умом снабдим за счет
Уюта, удовлетворенности,
Неторопливости, холености,
Финансовой неуязвимости —
Всё это, впрочем, отвлеченности,
В них нет большой необходимости.

Покупатель: Ну это как сказать! Хотелось бы
Богатство сохранить в целости!

Я только ум такой приветствую,
Когда я при уме не бедствую!
Нельзя ль оговорить заранее,
Чтоб мне оставить состояние?
Согласен я на недочет
Других привычек и наклонностей...

Продавец: Богатство мы даем за счет
Отзывчивости, окрыленности,
Задора, искренности дружеской,
Отваги, верности супружеской,
Чистосердечия, терпимости —
Всё это, впрочем, отвлеченности,
В них нет большой необходимости.

Покупатель: Нет, нет, богатство мало ценится,
Когда у вас жена изменница!
Давайте будем откровенны —
Назначьте дьявольские цены!..

Продавец: Давайте будем откровенны:
Откроем вены.

ПЕРЕЕЗД

Переезд! Переезд!
Руки к небу! Скорбный жест!
Вот подъедет грузовик
По-гомеровски велик,
И могучий скрип осей
Вновь услышит Одиссей.

Переезд! Переезд!
Наш кочевнический крест!
У того грузовика
Сталью крытые бока.
Затрещит моя тахта,
Словно в чреве у кита!
Силачи на страшный суд
Наши вещи понесут!

Переезд, переезд!
Сколько мы сменили мест!
Снова катится фургон
По полям во весь разгон!
Автострада, акведук.
О сундук гремит сундук,
О кровать гремит кровать.
Наше дело — кочевать.

Переезд, переезд!
Бог не выдаст, страх не съест!
Горы полук, связки книг
Затолкали в грузовик.

В грузовик отнесены
Все картины со стены!
И уже в квартиру ту
Напустили пустоту.

Сколько езжено-переезжено!
Кто подволою в Рим из Нежина,

Кто с Соломенки — да в Салоники
Под заливистый плач гармоники,

Кто — в игорную Калифорнию,
В море Черное ночью черною,

А иной, весь век свой валандавшись,
То в Голландию, то в Лос-Анджелес!

Сколько мыкано-перемыкано,
В карты всякие пальцем тыкано,

Сколько охано-переохано,
По чужим шоссе верст отгрохано!

То по небу я лечу,
То по морю плаваю.
Может — славы я хочу
И гонюсь за славою?

То я в поезде качу,
То трясусь с телегою.
Может — счастья я хочу
И за счастьем бегаю?

Я баранку кручу,
Я педали тискаю...
Может — денег я хочу,
За деньгами рыскаю?

Эх, колеса-вертушки,
Нескончаемый гул!
Может, просто из пушки
Кто-то нами пальнул!

Кто же рельсовым гулом
Душу нам порастряс?
Что же нас подхлестнуло,
Что подбросило нас?

Что за чудная сила
Подняла, понесла,
Будто в спину забила
Два проклятых крыла?

— То, что в небе высоком,
В стороне голубой
Было греческим роком —
Стало русской судьбой.

Переезд, переезд,
Как еще не надоест!
Справа поле, слева поле,
И маячит в поле шест.

Переезд, переезд.
Город. Здание. Подъезд.
Входим в новую квартиру,
Будто взяты под арест.

Переезд, переезд.
Вот и ночь уже окрест,
И летят, летят в пространство
Звезды, сорванные с мест.

Может быть — мучение,
Может быть — прощание,
Для волны — свечение,
Для звезды — качание.

Месяца горение
Над леском проселочным
Дереву ранением
Кажется осколочным.

Может быть, для гения
Означает творчество
Судорогу жжения,
От которой корчатся.

Может, наказания
Мера наивысшая —
Не четвертование,
А четверостишие.

Всё на свете мучится,
Что красою светится;
Этим свет и крутится,
Этим свет и вертится.

ДРАКОН НА КРЫШЕ

В новогодние сугробы
Город празднично влезал.
С верхотуры небоскреба
Грохал аэровокзал.

Там стрекочут вертолеты
Дни и ночи напролет,
Подымаются в высоты,
Опускаются с высот.
И оттуда пассажир
Улетает в звездный мир.

Старт без всяких разворотов
Прямо к звездам обращен.
Там двенадцать вертолетов,
А тринадцатый — дракон.

Он уселся на карниз
И поплеывает вниз.

На драконе чешуя,
Он в буграх и лишаях...
Вам открою душу я —
А дракон на крыше — я!

Горькой жизнью умудренный,
Я, как Гофмана герой,
Навсегда ушел в драконы!
Я за них стою горой!

Я вчера девчонку сгреб,
С нею шасть на небоскреб!

Там, в заоблачном Нью-Йорке,
Скрыто логово мое...
А что есть святой Георгий —
Всё вранье! Всё вранье!

У меня горит пещера,
Черным светом залита!
У меня клубами сера
Изо рта, изо рта!

Дым столбом стоит от оргий
У меня, у меня!
А что есть святой Георгий —
Болтовня! Болтовня!

Я люблю девчонок хрупких —
Поутру, поутру
Я их прямо в мини-юбках
Так и жру! Так и жру!

Что касается съестного —
Я удал-разудал!
Никогда того святого
Не слышал, не видал...

Вот сейчас взмахну крылами —
Отходи поскорей!
На три метра свищет пламя
Из ноздрей, из ноздрей!

У святого — ни копья!
Не купить ему копья,

Не достать ему коня,
Не догнать ему меня!

Я сейчас снимусь со старта —
Улетаю в Бамбури:
Там на конкурсе поп-арта
Заседаю я в жюри.

Что святой? О нем ни слуха.
Не святой, а звук пустой.
Показуха! Показуха —
Ваш святой! Ваш святой!
Тьфу!

Наша улица покато
Опускается к реке.
На дворе у нас закаты
Застревают в тупике.

И когда в вечернем гуде
Над водой мосты летят —
Птицы, здания и люди —
Все кидаются в закат.

А в окошке у соседа
Где-то рядом надо мной —
Поставщик ночного бреда,
Мастер боли головной —

Сотрясается приемник
С лязгом всех своих частей
От испанских неумных
Раздирательных страстей.

В долгожданную нирвану
Уплываю наугад,
Вместе с городом я кану,
Вместе с птицами в закат,

Вместе с пестрым и гортанным
Населеньем этих стен,
Вместе о доном Эстебаном,
С сеньоритою Кармен,

Чтоб до самого рассвета
Надо мною звезды шли,
Я под красной тучей где-то
Завалюсь за край земли.

И направо и налево
Улыбался без конца.
И дошло до перегрева
Главных мускулов лица.

Наступил в лице затор,
Мускулы как связаны.
Мне улыбки с этих пор
Противопоказаны.

Люди стали порицать,
Что улыбка в ширь лица
Не рас-тя-ги-ва-е-тся
И не получается!

Без улыбки мне нельзя
Выходить из дому.
Заказал улыбку я
Нашему портному.

И последнюю с лица
Снял и дал для образца.

А портной мой невпопад
Возьми и окачурься!
Улыбку требую назад,
А мне родные говорят,
Что они не в курсе.

От таких событий тошных
Я совсем затосковал,
Но улыбку мне художник
На лице нарисовал.

Та улыбка — неземная,
До ушей распялен рот,
И с лица я не снимаю
Ту улыбку круглый год.

Обвораживаю всех.
Вежлив. Безупречен.
Мне поэтому успех
Всюду обеспечен.

Листьев взвинченный полет.
Сырость, слякоть, полумрак.
Этим я из года в год
Восхищаюсь как дурак.

Ветры в улицах трубят,
Сумасшедший акробат
Над ареною асфальта
Крутит траурное сальто.

И кричат ему «ура»
Сотни рыжих у ковра.
Я и сам такой точь-в-точь,
Так смотри же — не промажь.
До пощечин я охоч,
У меня такая блажь.

Я везде сую свой нос,
Я повсюду тут как тут,
Рыжих в шутку и всерьез
По лицу за это бьют.

Но я все-таки артист,
Хоть слыву я дураком
И лечу, как желтый лист,
По арене кувырком.

Знать, в такой уж переплет
Мы попали, милый друг.
Что нам осень пропоет
В золотую ночь разлук?

Пропоеет, что дождь прошел,
И что он пройдет опять,
Что нам будет хорошо
Под гитару умирать,

Что летим мы на магнит,
Что нас тянет даль и ширь,
Что сосульками звенит
Серебристая Сибирь.

Идет замедленный человек,
Угасающий человек.
Он мается целый век,
Пугается целый век.

Сорок костюмов снашивает,
Семьдесят пар башмаков,
Счастье выпрашивает
У лошадиных подков.

Едва он на свет явлен,
Совсем еще мал, гол —
А уже на него составлен
Первый протокол.

Еще он роста цыплячьего, —
Розовощекий комочек, —
А что-то уже втолмачивает
В него педагог-начетчик.

А выйдет в путь человеческий,
Шагнет за порог — и глядь —
Уже государство на плечи
Ему навалило кладь!

И только какая-то женщина,
Говорившая вычурно,
Как гайка, была безупречно
К нему привинчена:

Да умерла намедни.
Он называл ее Глашей.
И вот он идет замедленный,
Идет погасший.

Я сначала зашел в гардероб,
Перед тем как отправиться в зал.
Сдал на время мой крест, и мой гроб,
И мой плащ, и кашне мое сдал.

Потолкался в театре ночном,
Где хрустальная люстра плыла,
Где в толпе в амплуа я одним,
А на сцене в другом амплуа.

Но со мною — вечерний прибор
И закатного солнца струя.
Неприменно в театры с собой
Приношу декорации я.

Я недаром привесил звезду
К девятнадцатому этажу.
Вот сидишь ты в переднем ряду,
А я в синем луче прохожу.

Сквозь меня он, как нитка, продет,
И в луче я почти неживой.
И всплывает нью-йоркский рассвет
Прямо в белую ночь над Невой.

Но не ждут уже больше друзья
Там, где времени ветер прошел.
Потому и к созвездиям я
Обращаюсь, как в адресный стол.

Да немного узнаешь у звезд —
Только стужа вверху голосит,
И опущенный в прошлое мост
Над рекою забвенья висит.

ГИМН ЦИТАТЕ

Где-то, о чем-то обмолвился гений когда-то —
цитата.

Не прикасайтесь! Тут всё непорочно и свято —
цитата!

Лупят друг друга противники фразою сжатой —
цитатой!

Дурень взывает некстати и кстати —
к цитате!

Старый догматик на карточке снятый —
с цитатой!

Приспособленец сползает по скату —
в цитату!

А краснобай обзавелся богатой —
цитатой!

А ловкачу раздобыли по блату —
цитату!

А клеветник прицепился в печати —
к цитате!

Господа молит начетчик: обрадуй —
цитатой,

Дай всеобъемлющую по охвату —
цитату!

Речь болтуна потрясают раскаты —
цитаты!

Склочник взывает, крича благим матом, —
к цитатам!

Умники сплошь начинают трактаты —
с цитаты!

Публику лектор томит сто тридцатой —
цитатой!

Чтоб возбудить уваженье в дитяти —
к цитате,

В лагере день начинает вожатый —
цитатой!
Кто-то бормочет — назад, как в тридцатом,
к цитатам!
И растекается в витиеватых
цитатах!
Скучный оратор кладет, как заплаты —
цитаты!
Дочку назвал компилятор завзятый —
Цитатой!
... Раз укротитель водил по Арбату —
цитату!

- Стоит у дома букинист.
— Прохожий, в книги окунись!
- Для всех служителей искусства
Удешевленно продается
«Путеводитель по беспутству»
И «Руководство по сиротству».
- Вот «Алфавитный указатель
Нас возвышающих обманов».
(Хватает книгу покупатель,
На цену даже и не глянув!)
- Вам нравится изящный слог?
Вам слыть поэтом очень хочется?
Вот вам «Бессонниц каталог»
И «Справочник по одиночеству».
- Заглядывайте чаще, братец,
В «Словарь нелепиц и невнятиц».
- Недавно издана опять
Для тех, кто не знаком с предметом,
Статья «Наука погибать,
Или как сделаться поэтом».
- Берите! Невелик расход!
А приложенья не хотите ль?
«Самоубийство как исход»,
Прекраснейший самоучитель.
- «От литераторских подмостков
До Литераторских мостков» —

Ряд драматических и хлестких
Биографических набросков,
Пособие для новичков.

— Там даже критику найдете,
Читайте все статьи подряд:
Статью «Поэт на эшафоте»,
Статью «Поэт — лауреат».

— И наконец — совет, прощальный:
Читайте пристальней, поэт,
В «Энциклопедии журнальной»
«Классификацию клевет».

По земле шатаюсь я давно,
И везде вожу с собой окно.

Хоть люблю я в жизни перемену,
Но окно всегда вставляю в стену.

Приглашаю я в окно закат.
Птицы пусть в окне моем летят.

Ветку на окно мое кладу,
Рядом сбоку вешаю звезду.

Или, чтоб увидел целый свет,
Создаю ночной автопортрет —

В раме, за стеклом, стою в окне,
Свет фонарный шастает по мне.

Пусть стоит вселенная вверх дном,
Мне не страшно за моим окном!

Я поеду в городок морской,
Я мое окно возьму с собой

И у волн поставлю непременно,
Пусть окно окатывает пена,

Пусть там волны ходят ходуном,
Хорошо мне за моим окном!

Я от океана отделен,
В раме океан, и застеклен!

Каждым утром, сразу после сна,
Я выбрасываюсь из окна

И лечу на камни мостовой,
В мир невыносимо-деловой.

Анатолию Сапронову

Как только на шахматы брошу я взгляд,
Всегда зажигаюсь веселым огнем:
Готовые к бою фигуры стоят,
И каждая пешка на поле своем.

Как в жизни — расписано всё по ролям,
У всех свое место, и всем свой черед.
И можно назад отступать королям,
Но пешки идти могут только вперед.

Мой день, моя ночь еще крепко стоят,
Как белый квадрат и как черный квадрат.

Я тоже на шахматном поле стою,
Я тоже игру защищаю мою.

Еще мое сердце стучит и стучит
На стыке маневров, атак и защит!

Но с поля когда-нибудь снимут меня
Каким-нибудь каверзным ходом коня

За то, что я, силы своей не жалев,
Кидался по следу чужих королев,

За то, что с позиций, разгромленных вдрызг,
Я шел на предсмертный, восторженный риск!

За то, что сыграть не умел я вничью, —
За всё это гибелью я заплачу!

Навстречу мне — вражеских пешек навал,
И вот он, король мой, на смертном одре...
Но если я даже игру проиграл,
Я всё же участвовал в этой игре!

Хоть возьми и с тоски угробься,
Чтоб конец положить опекам.
Колоссальнейшее неудобство:
Оказался я человеком!

Я от нежных забот правительства
Как суконный пиджак повытерся.

Не живи, а всю жизнь готовься
К торжествам олимпийским неким.
Колоссальнейшее неудобство:
Оказался я человеком!

Оказался таким нелепым:
За мечтой волочусь прицепом.

Пирамидищею Хеопса
Шла волна над моим ковчегом.
Колоссальнейшее неудобство:
Оказался я человеком!

По субботам с женой и сыном
Проплываю по магазинам.

С панталыку я сбился вовсе!
Ни звезды над моим ночлегом.
Колоссальнейшее неудобство:
Оказался я человеком!

А во сне я как в звездопаде:
Звезды спереди, звезды сзади!

Неудобство, что человеком,
Человеком я оказался,
Кривосабельным печенегом
В мою полночь кошмар врубался!

Колоссальнейшее неудобство
Человеком быть, а не мопсом!
Как ты к миру не приспособься, —
Быть поэтом — сверхнеудобство!

Говорят, что поэт — поет,
Да не верю я фразам дутым.
Говорю, что поэт — полет
С нераскрывшимся парашютом.

Вечера ненастные.
Ветры неутешные.
Парни коренастые
Бомбами увешаны.

Потрясают автоматом,
Предъявляют ультиматум!

Кто тут против?
Кто тут за?
Дымятся из темных ободьев
У атамана глаза.

И брякает он фразу
Басом допотопным:
— Если против — сразу
Тут же вас и шлепнем!

Если с нами солидарны,
Выражаем похвалу,
Но ухлопают вас парни,
Что стоят на том углу!

Кто-то голосом корявым
Добавляет в простоте:
— Нейтралистов мы дырявим,
И дырявят парни те!

В доказательство потряс
Он ручной гранатой...
Современники! У нас
Выбор пребогатый!

Ученый умно втолковывает,
Где точка, а где тире.
А поэт сидит и приковывает
Петуха к заре.

Что точка в земном пути?
Жить от нее не легче.
А у поэта, как ни крути,
Певчий петух. Певчий.

Поэт облюбует площадь,
Солнцем ее полощет.
Тут ведает всем булыжник,
И голубь — его сподвижник.

А ночью, как на параде,
Поэт красоваться рад,
И у поэта во взгляде
Уличный звездопад.

Слышен ветра окрик.
Ветер-хореограф
Пляшущих огней,
Скачущих теней.

Уже серебрятся
Огни на мостах,
Уже декорации
Все на местах,

И в светопаде и в блестках
Поэт стоит на подмостках.

И, начиная кидаться
В прожекторную струю,
Поэт в своих декорациях
Ставит драму свою.

И встает метеором
В световом ореоле
Та — которая
В главной роли.

В небе первозданном
Техникой наплывной
Лицо ее крупным планом
Ложится на город ночной.

Он глянет наверх —
И гибнет заранее.
Он — человек,
А она — сияние.

Пытается он втереться
В мерцающее соседство.

Но со своею тяжестью
И с кряжистою тенью,
Никак он не развяжется
С законом тяготенья.

Ему — расстояние,
Ему — отречение,
А ей — сияние,
А ей — свечение.

И, обдавая сиянием,
Она проплывает над зданием,

А он соскользнувшим лучом
Закалывается, как мечом,
И на своей арене,
На перекрестке ночном
Истекает стихотвореньем —
Свящимся красным пятном.

Дом мой любит сотрясаться
Звоном рюмок и посуд.
А пройдет еще лет двадцать —
Дом наверное снесут.

Да и сам я вместе с домом
Стану чем-то невесомым,
Чем-то странным: я не я,
А воспоминания.

Но меня не запихнут
В фотографии квадрат:
В каждой из моих минут
Я остался как заряд.

Где-то спрятан, говорят,
Времени волшебный ящик:
Миги-нанизы-ваю-щий аппа-рат,
Жизне-записы-ваю-щий аппа-рат,
Жизне-вос-про-изво-дящий!

В аккуратной упаковке
Мигов, месяцев, годов —
Там лежат мои ночевки,
Слышен шум моих садов,

Все расчеты, все просчеты,
Все фортуны повороты,
Жизнь, которая прошла,
Сердца темные заботы,
Будней колкие дела.

Только ручку крутани —
Получай их: вот они!

Остановлено мгновенье!
И тебе возвращено
То, что кануло в забвенье,
Унеслось давным-давно...

Только незачем без толку
В вечность пялиться, как в щелку:

Без конца она и краю,
Что ей день и что ей год!
То, что с мигом я теряю,
То мне вечность не вернет.

В осеннем сквере всё чин-чином:
Бродяга на скамейке пьян,
И, как хрусталь с бенедиктином,
На солнце светится каштан.

Стою беспомощно-осенний,
Совсем рассеянный чудак,
И от осенних невезений
В душе и в мыслях кавардак.

Бредут влюбленные по скверу,
По листьям, как по янтарю,
А я шотландскому терьеру
О смысле жизни говорю.

Справа и слева —
Здания, здания.
Где ж оно — древо,
Древо познания?

Нового стиля
Грехопадение —
В автомобиле
На заднем сидении.

Вот где любили
До обалдения!

Не до Валгаллы
Этим Брунгильдам:
Им бы с нахалом,
С каким-нибудь дылдой
В автомобиле
На темной дороге...

Были да сплыли
Грозные боги.

Старцев шокируя,
Странны, как в книгах,
Мчатся валькирии
В легких туниках.

Волосы ливнем
По шеям и спинам —
Ливнем призывным,
Ливнем звериным.

Юность в разгуле!
Юность в раскате!
В сумке — пилюли
Против зачатий.

Что же! гремите
Звонами плоти —
Юность в зените!
Юность в полете!

Юность на гребне!
Жизнь на подхвате!
Танец волшебный
В кровать из кровати!

Автомобиль
Лакированный
Зов протрубил
Любовный.

Лист, качаясь, напылался
До шафранно-красных жил
И по правилам баланса
По спирали закружил.

Вот он тонкий, вот он ломкий,
И, как мумия, он сух,
И уже по всей каемке
Он свернулся и пожух.

Лунный луч, на ветки брызни!
Старый лист, лети ко мне!
Мы с тобою в книге жизни
На расходной стороне.

Отпылав и отработав,
Будем падать вкривь и вкось.
Для бухгалтерских расчетов
Важно, чтобы все сошлось.

Если стал уже каленым,
До густых дошел кровей —
То, согласно всем законам,
Должен шлепнуться с ветвей!

Вот и небо стало мглистым,
И темнеть грозитя впредь.
Остается мне со свистом
Над землею пролететь.

Женщина в блеске свечей .
Сидит, опершись на локоть.
Это из тех вещей,
Которые хочется трогать.

Казалось, чего уж проще —
Так же и у моллюска.
А тронешь — на ощупь
Под блузкой —
Музыка
Каждый мускул.

Глаза в нее погружаю
И чувствую, что дурею.
Меня заряжает,
Как батарею.

Многие мне страны
Были в пути обещаны,
И все-таки самой странной
Страною была женщина.

Томит миражем
В пустыне,
Пока не ляжем
И не остынем

В ее трясине,
В ее болоте,
В низинах
Ее плоти.

Бряцающие рифмами орясины!
Печалитесь вы часто из-за осени.
А осень разудалым Стенькой Разиным
Плывет куда-то в струге многовесельном.

Гогочет ветер, где-то близко рыская,
Как будто в наши спутники назначенный,
И лист мелькает, как княжна персидская,
В глаза кидаясь пестрой азиатчиной.

А дуб стоит в своей короткой кожанке
Чуть загулявшим ветераном осени.
Мне весело, как в мастерской художника,
Где все картины красочно разбросаны.

Налей себе вина разгульной осени
И чарку до последней капли высоси:
Она из сердца вынет все занозины
И разрешит твои любые кризисы.

Прогуливаюсь, празднично утешенный,
По всем дорогам осени взъерошенной,
А ночью у меня луна подвешена
Перед окном огромною горошиной.

И ночь идет скрипящая и хлесткая,
И кажется — луна в окне расплавлена.
А утром неба синева матросская
Уходит в вечность, как уходят в плаванье.

Я эмигрировал на озеро,
В столпотворение берез.
На край земли меня забросило,
А на какой — не разберешь.

Весь день сижу на лодке с удочкой,
В воде качаю небосвод.
Я эмигрировал из будничных
Занятий, помыслов, забот.

Тут у меня медведь в наместниках!
Я восхитительно уплыл
От телевизорных наездников,
От их фасонистых кобыл,

Уплыл от телефонных взломщиков,
От радиопроповедей.
Вверху над рощей — месяц ломтиком,
И ломтик лодки на воде.

Покачивают ветки гнутые
Березы над водой седой,
А я с тенями ветки путаю,
Я небо путаю с водой.

И я сливаюсь с тенью лодочной,
Замазан сумерками сплошь.
Я на воде почти что точечный.
И не старайся — не найдешь.

Сколотил ты свой угольный рай
До последнего гвоздика.
А теперь — то и знай — повторяй:
— Загрязнение воздуха!

Загрязнение воздуха! Что ж
Горевать из-за этого?
По вечерней дороге идешь —
А она фиолетова.

Вся в дыму, вся в бензиновых парах,
В ядовитой лиловости.
В страх бросает? (А разве не страх —
Загрязнение совести?)

Говорите, что хуже нет бед,
Что от дыма завянете.
Это — вред? (Ну, а разве не вред —
Загрязнение памяти?)

О как счастливы мы, ухитрясь
Защититься от копоти.
Это — грязь? (Ну, а разве не грязь
В нашем жизненном опыте?)

Ах, как сажа летит по дворам
И по стенам размазана.
Это — срам? (Ну, а разве не срам —
Загрязнение разума?)

Загрязнил ты все то, что тебе
Было Богом даровано —

И кричишь, что к фабричной трубе
Приближаться рискованно!

И кричишь, что над городом чад
Как пятно надо вывести —
И молчишь, там где жизни влачат
В испарениях лживости!

Сколько дымы на нас ни ползут, —
Потруднее управиться
С загрязнением скорбных минут,
С загрязнением праздника.

Пострашнее, чем дыма слои
И фабричного замызга —
Загрязнение вымысла и
Загрязнение замысла.

Но кричим мы весь день впопыхах,
Повторяем без роздыха:
— Загрязнение воздуха! Ах!
Загрязнение воздуха!

Мне хочется поговорить о ветке,
Которую я полюбил навеки.

Мне хочется поговорить о ветке,
О ветхости, о ветоши, о ветре.

Мне хочется поговорить о ветке,
О как в окно ее удары вески!

Поговорить о синеве заветной,
Поговорить о синеве за веткой!

О ветке, что зеленым оборванцем
В мое окно так любит забираться,

О ветке, что советуется с ветром
О самом тайном и о самом светлом.

И осенью я очарован веткой,
Ее листвой с тигровою расцветкой,

Как будто под окно привел ноябрь
Костры, и тигров, и цыганский табор!

Но скоро вся листва уходит в отпуск,
Оставив только ветку, только подпись.

Я говорить хочу о ветке зимней,
О ветке, снеге, их любви взаимной,

О их любви взаимной, несусветной,
О как интимно снег слепился с веткой!

**Я знаю их веселые повадки:
Обледенев, позвякивать на Святки.**

**Когда-нибудь любви своей экзамен
Они сдадут весенними слезами.**

Всегда откуда-то берется
Какое-нибудь сумасбродство.

Всегда откуда-то берутся
Какие-нибудь безрассудства.

Какая-нибудь околесица
Бог знает как в стихи заносится,

И оголтелая нескладица
Бог знает как в стихи поведится.

Глядишь — и рифмами украсится
Какая-нибудь несуразица.

За мною числится бессмыслица,
Нелепица за мною числится,

За мною значится невнятица,
За мною путаница значится.

В моем хозяйстве неурядица,
Запасы как попало тратятся,

Вослед за словом слово катится,
Разноголосица, сумятица.

Стихи — пустяк, стихи — безделица,
Стихи без всякой цели мелются,

Пока кормилица-поилица —
Моя чернильница не выльется,

Вослед за словом слово гонится...
Зарница — звонница — бессонница.

Наверное, появится заметка,
А может быть, и целая статья,
В которой обстоятельно и метко
Определят, чем занимался я.

Какие человечеству услуги
Я оказал. В чем был велик, в чем мал.
Какие в гроб свели меня недуги,
Какой меня священник отпевал.

Цитаты к биографии привяжут,
Научно проследят за пядью пядь.
А как я видел небо — не расскажут,
Я сам не мог об этом рассказать.

Кто передаст температуру тела,
Которую я чувствую сейчас?
Ведь никому нет никакого дела
До рук моих, до губ моих, до глаз.

Я в каждое мое стихотворенье
Укладывал, по мере сил своих,
Мое дыханье и сердцебиенье,
Чтоб за меня дышал и жил мой стих.

Залезаю в коробку железную,
Нажимаю кнопку полезную
И поднимаюсь над бездною!

И вот я в каменном
Фамильном гнезде
Готовлюсь к экзаменам
По автомобильной езде.

Готовлюсь у стенки
С квадратным вырезом,
Где небо оттенка
Ириса
Посередине с Сириусом.

Строится где-то, строится где-то
Дом для меня, дом для меня.
Там, за углом, за углом света,
Там, за углом, за углом дня.

Помню я дерево у плетня
В самом центре тихого лета.
Дерево это, дерево это
Там, за углом, за углом света,
Там, за углом, за углом дня.

Был когда-то друг у меня,
Где он — спроси у ветра ответа.
Свидимся где-то, обнимемся где-то
Там, за углом, за углом света,
Там, за углом, за углом дня.

Праздность моя, звездность моя,
Жизнь без расчета, жизнь без запрета —
В небе ты канула, словно комета,
Там, за углом, за углом света,
Там, за углом, за углом дня.

Только зубы покрепче стисни —
Выстроим дом, выстроим дом
Там, за углом, за углом жизни,
Там, за углом, там за углом.

По желобку на потолке
Проскальзывает занавес.
А врач в халате, в колпаке,
Качается невдалеке,
Как будто из тумана весь.

По комнате туда-сюда
Плывет сестрица-рыбица,
А у врача-то борода,
Как водоросли, дыбится!

И начинается возня:
Надвинулись халатами,
Чтобы наверх тащить меня
Цепями и канатами.

А я лежу на самом дне,
На самом дне беспамятства,
А доктор что-то в ухо мне
Рычит тартарарамисто!

Меня, наверно, воскресят.
Случаются ведь странности.
И к человечеству назад
Препроводят в сохранности.

Я снова стану сгустком чувств,
Я снова стану хищником,
Я снова жадно восхищусь
Каким-нибудь булыжником!

Иль облупившейся стеной
С какой-нибудь царапиной,
Иль в дождь дорогою ночной,
Закапанной, заляпанной.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее Собрание сочинений Ивана Елагина — первое как в России, так и за ее пределами. Лишь дважды при жизни Елагина выходили книги его «избранных» стихотворений и поэм, причем окончательно выверенным и соответствующим последней воле автора может считаться лишь первое «избранное»: сборник «Под созвездием Топора», выпущенный в 1976 году в издательстве «Посев» во Франкфурте-на-Майне. Второе «избранное» — вышедший в 1986 году сборник «Тяжелые звезды» — составлялось в спешке, в качестве предсмертного подарка умирающему поэту, причем составитель, Л.Д.Ржевский, скончался даже раньше самого Елагина. Никаких заметных поправок в стихах Елагин не сделал, не была введена даже та правка, о которой совершенно точно известно, что он решил на нее. Между тем именно эта книга стала для Елагина последней, и менять текстологию вошедших в нее стихотворений составитель не решился.

Поскольку две первые книги Елагина, вышедшие в Германии, были позднее почти полностью введены автором в итоговый для него (на год издания книги) сборник «По дороге оттуда» (1953), текст этого сборника воспроизводится почти без изменений, за исключением тех стихотворений, что повторялись в более поздних «избранных», где текст воспроизводится по последней авторской публикации; то же относится к последующим сборникам — «Отсветы ночные» (Нью-Йорк: Новый журнал, 1963), «Косой полет» (тот же издатель, 1967), «Дракон на крыше» (Роквилль: Изд-во Виктора Камкина, 1973) и «В зале Вселенной» (Анн-Арбор: Эрмитаж, 1982). Разделы «Новые стихи» в книгах «Под созвездием Топора» (1976) и «Тяжелые звезды» (1986) без изменений печатаются под соответствующим заглавием и введены в хронологический корпус.

Никогда не переиздававшаяся при жизни Елагина пьеса «Портрет мадмуазель Таржи» печатается по единственному прижизненному изданию (Мюнхен, 1949) с исправлением очевидных опечаток.

В раздел «Несобранное» включены стихотворения, не входившие в перечисленные «канонические» сборники. Сюда введены два стихотворения, исключенных поэтом при переиздании мюнхенского сборника «Ты, мое столетие!» (1948) в корпусе книги «По дороге оттуда» (1953), а также стихотворения из сборника «Курган» (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1987), составленного самим Елагиным, но вышедшего посмертно: эта небольшая книга объединила все, что написано Елагиным в условном жанре «политической лирики», — несколько стихотворений печатались в «Кургане» впервые; остальные стихотворения взяты со страниц «Нового журнала» (Нью-Йорк) и поэтического ежегодника «Встречи» (Филадельфия). Полностью, согласно неоднократно высказанной воле Елагина, исключена его книга «Поэтические фельетоны в стихах» (Мюнхен: Изд-во ЦОПЭ, 1959).

В Собрание сочинений не вошли также поэтические переводы

Елагина (за исключением введенных самим поэтом в сборники переводов из Рильке и Дагмары Ник) и многочисленные стихотворения «не для печати»: домашние послания, пародии, дружеские поздравления и т.д. Не включены стихотворения довоенного периода, сохранившиеся в Москве и Киеве, но самим поэтом не изданные.

Настоящее издание стало возможным лишь благодаря разрешению вдовы поэта, Ирины Ивановны Матвеевой (Елагиной), данному исключительно издательству «Согласие», за что и составитель, и редактор, и руководитель программы «Согласие» (а также, надо полагать, все будущие читатели) приносят ей огромную благодарность.

За помощь, оказанную в процессе подготовки издания, составитель приносит благодарность дочери поэта Елене Матвеевой, сыну поэта Сергею Матвееву, а также Новелле Матвеевой, Кире Бессмертной, Александру Богословскому, Роману Виктюку, Михаилу Гаспарову, Николаю Голю, Павлу Грушко, Борису Дьяченко, Риталию Заславскому, Белле Казначей, Ольге Кольцовой, Виктору Леонидову, Надежде Мальцевой, Анне Мартыновой, Наталье Невраевой, Вячеславу Нечаеву, Евдокии Ольшанской, Дине Орловой, Алексею Орлову, Александру Парнису, Вадиму Перельмутеру, Григорию Расторгуеву, Борису Ремизову, Нине Рубашовой, Анне Саакянц, Татьяне Сырыщевой, Елене Трофимовой, Льву Турчинскому, — а также Евгении Димер, Николаю Моршену, Валентине Синкевич, Мелисе Т.Смит, Дмитрию Тарасенкову (все — США), Яну-Паулу Хинрихсу (Нидерланды), Вольфгангу Казаку, Глории Хассе (Германия), — а также Государственному литературному музею, Российскому государственному архиву литературы и искусства, радиостанции «Голос Америки».

ПО ДОРОГЕ ОТТУДА

Воспроизводится по изданию: Иван Елагин. По дороге оттуда. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953 (экз. с авторской правкой — в со-брании составителя).

«Отгалкивался дым от папирос...» (с. 66). — *Аян, Гнор, Битт-Бой* — персонажи произведений Александра Грина. *Аш, пролив Кассет* — детали «гриновской географии».

«Там сук над водой перегнут...» (с. 69). — *Пер Гюнт* — персонаж одноименной драматической поэмы Генрика Ибсена (1828–1906). В стихотворении упоминаются невеста Пер Гюнта — *Сольвейг* и *Рондский бор* — где разворачивается часть действия поэмы.

«Там тень извозчика на козлах...» (с. 70). — *Раскольников через Сенную...* — маршрут Раскольникова из «Преступления и наказания» Ф.М.Достоевского. *Онёр* — старшая карта в некоторых коммерческих играх (к примеру, при игре в винт).

Терцины — Акrostих (с. 71). — В акrostихе читается «Александр Грин». Акrostихами в шуточных (и издевательских) стихотворениях

Елагин «баловался» всю жизнь. *Сан-Риоль* — еще один город из «гриновской географии».

«По-зимнему бор оскален...» (с. 73). — *Галлен* — вероятно, имеется в виду финский художник Аксели Галлен-Каллела (1865—1931), иллюстратор эпоса «Калевала» и автор картин на темы этого эпоса.

«Чернильница! Досталось и тебе...» (с. 74). — *Нестеровская* — улица в Киеве.

«В парадном ночь и стужа. В две коптилки...» (с. 93). — *Фраже* — букв.: бахрама; здесь — дверной витраж.

«Так ненужно, нелепо, случайно...» (с. 114). — *Алленштайн* — город в Польше (ныне — Олыштын), где умерла и похоронена старшая дочь поэта Инна (см. предисловие).

«Спят на фасаде даты...» (с. 115). — *Гофман фон Фаллерслебен* Август Генрих (1798—1874) — немецкий поэт и историк литературы, чье стихотворение «*Deutschland, Deutschland über alles...*» («Германия, Германия превыше всего...») в конце XIX в. и особенно во времена нацизма стало чуть ли не гимном немецких националистов. *Панцераларм* (нем.) — танковая атака.

«Строили да рухнуло...» (с. 119). — *Изар* — приток Дуная, на котором стоит Мюнхен. В пригороде Мюнхена (Шлесхайме) Елагин жил после окончания войны.

«Дальше, дальше. Там ребенок. Брось...» (с. 121). — *Дагмара Ник* (род. 1926) — мюнхенская поэтесса, член ПЭН-клуба с 1965 г., автор сборника «Считанные дни» (Ганновер, 1986) и др. Судя по всему, Елагин переводил стихи совсем юной Дагмары Ник по автографу — оригинал стихотворения «Дальше, дальше...» не выявлен.

«За то, что руку досужую...» (с. 123). — Стихотворение представляет собой почти уникальный в русской поэзии образец поэтического сожаления о «неучастии» в войне против коммунизма: до *проволок Платтинга* (под которым состоялись после войны наиболее позорные для союзников СССР «выдачи») шли бойцы власовских и казачьих дивизий; именно о виселицах Власова, Краснова, фон Паннвитца и других казненных Сталиным генералов идет речь в конце стихотворения.

Звезды (с. 132). — Поэтическое «кредо» Елагина; подробней см. в предисловии. Посвящено отцу поэта, поэту-футуристу Венедикту Марту (1896—1937).

«Уже закаты буйствуют по кленам...» (с. 139). — *Завалишин Вячеслав* Клавдиевич (1915—1995) — поэт и литературовед, эмигрант «второй волны», известен как автор более чем свободного переложения «Центурий» Нострадамуса.

«Не страшен эшафот. Позорный столб не страшен...» (с. 140). — *Von tot* (фр.) — здесь: эффектная реплика.

«Видно, дела плохи...» (с. 141). — *Нарциссов Борис* Анатольевич (1906—1982) — поэт-эмигрант «первой волны», выходец из Эстонии, по профессии инженер-химик, друг Елагина.

«Не надо их. Оставь. Они жестоки...» (с. 143). — *Абрекская* — улица во Владивостоке, где стоял дом деда Елагина (Н.П.Матвеева-

Амурского) и где прошло раннее детство поэта.

«Мне девять лет. Я только что с перрона...» (с. 145). — Дача, на которой Венедикт Март с женой и сыном в 1927—1928 гг. жили в Подмосковье, находилась в Томилине по Казанской ж.д. Отсюда: *Ты видишь тракт? По нем когда-то с юга / Татары проходили на Москву...*

«Я уже по-иному слышу...» (с. 148). — *Мы, как линии у Евклида* (правильней: Евклида) — постоянный мотив «евклидовских» несходящихся параллельных прямых для Елагина — обобщенный образ американского города. См. также стихотворение «Небоскребы упрятались в море...»

ОТСВЕТЫ НОЧНЫЕ

Воспроизводится по изданию: Иван Елагин. Отсветы ночные. Нью-Йорк: Изд. «Нового журнала», 1963.

«Комары толклись у водоема...» (с. 176). — *Монтигомо* — В рассказе А.П.Чехова «Мальчики» (1887) один из героев, Чечевицын, называет себя не иначе как «Монтигомо Ястребиный Коготь».

«Пробегают такси по соседнему парку...» (с. 184). — *Ваше русское имя* — т.е. имя Ирина. Стихотворение обращено к Ирине Ивановне Матвеевой, урожденной Даннгейзер, второй жене Елагина.

«Всю ночь мигает вывеской отель...» (с. 186). — Эпиграф — из романа Александра Грина «Бегущая по волнам». *Дэзи и Биче Сениэль* — героини того же романа.

Из Рильке (с. 197). — Стихотворение представляет собой весьма близкий к оригиналу перевод стихотворения Райнера-Марии Рильке (1875—1926) «Das ist dort, wo die letzten Hütten sind...» (1897) из сборника «Die frühen Gedichte».

«Деревца горят в оконных рамах...» (с. 198). — Стихотворение посвящено И.И.Матвеевой.

«В горячей и пыльной столице...» (с. 199). — *Анна, Наташа* — Анна Каренина и Наташа Ростова — героини романов Л.Н.Толстого.

«Простому камню грубость...» (с. 209). — *Большухин Юрий Яковлевич* — эмигрант «второй волны», литературный критик, сатирик, пародист и поэт-дилетант; сотрудник газеты «Новое Русское Слово». В 1950-е годы он работал там вместе с Елагиным и обменивался с ним стихотворными посланиями; подробнее о нем см. в воспоминаниях дочери Елагина Елены Матвеевой «Муза в домашних тапочках» (Canadian-American Studies. 1993. V.27, №14. P.281—284).

В *Гринвич Виллидж* (с. 210). — *Гринвич Виллидж* — район богемы в Нью-Йорке между Хаустон-стрит и 14-й западной улицей в Нижнем Манхэттене; в юго-восточных кварталах района расположен Нью-Йоркский университет, где в 1960-е годы Елагин учился.

Поэма без названия (с. 219). — *Бонгарт Сергей* Романович (1918—1985) — поэт и художник, эмигрант «второй волны», друг Елагина; памяти Бонгарта посвящено стихотворение, публикуемое на

с. 234 т.2 наст. изд. Бонгарту также принадлежит единственный рисованный портрет Елагина.

«**Наскучила косность...**» (с. 226). — Стихотворение вызвано к жизни впечатлениями от многочисленных запусков в космос обезьян, происходивших в США в 1960-е годы. *Стелла Марис* — Звезда Морей — цитата из католической молитвы, обращенной к Деве Марии. *Вакула* — персонаж повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством», кузнец.

«**По-ученому не говори...**» (с. 235). — *Лиля* — Елена Матвеева (р. 1945), дочь Елагина и Ольги Анстей, русская поэтесса.

КОСОЙ ПОЛЕТ

Воспроизводится по изданию: Иван Елагин. Косой полет. Нью-Йорк: Изд. «Нового журнала», 1967.

Поэт (с. 267). — В *Пулково*, под Санкт-Петербургом, расположена одна из старейших обсерваторий России.

«**Стопудовые и древние...**» (с. 283). — *Н. и Р.Магидовы* — Нила Ивановна и Роберт Магидовы — друзья Елагина; Роберт Магидов, американец, многолетний глава Славянского отделения Нью-Йоркского университета, умер в середине 1970-х годов; Нила Ивановна живет на покое в штате Нью-Гемпшир (данные на май 1997 г.).

Четыре угла (с. 295). — *Сапронов Анатолий* Константинович (р. 1922) — филолог и шахматист; в юности жил в Югославии, позже в Германии, затем эмигрировал в США, где преподавал русский язык в Йельском и Колумбийском университетах. Постоянный партнер Елагина по игре в шахматы. *Четыре угла* в этой балладе — «шахматные». «Шахматы Иван Венедиктович любил страстно, иногда даже говаривал, что за умение играть посильнее отдал бы все свои книжки» (Осипович А. За шахматами // *Canadian-American Studies*. 1993. V.27, №14. P. 259).

Битники (с. 301). — *Et cetera (лат.)* — и так далее.

«**В музее современного искусства...**» (с. 305). — *Голлербах Сергей* Львович (р. 1923) — художник, график, мемуарист. Эмигрант «второй волны», друг Елагина.

«**Да что я — бревно какое...**» (с. 324). — В эпиграфе — цитата из предсмертного восьмистишия Г.Р.Державина.

Невозвращенец (с. 325). — Суд в *Арецо* в XX в. действительно пересмотрел приговор Данте и отменил его. Строки *Так в законах строгие педанты / Реабилитировали Данте!* — Елагин, судя по письму к составителю данного Собрания сочинений (см. предисловие), предполагал изъять, но в единственном прижизненном переиздании (сб. «Тяжелые звезды», 1986) было уже не до текстологии — книга делалась почти без участия умирающего поэта.

«**Мой город грозный, город грандиозный...**» (с. 329). — *Фесенко Татьяна* Павловна (урожд. Святенко; 1915–1995) — поэт, литерату-

ровед, жена *Андрея Владимировича Фесенко* — сотрудника Славянского отдела Библиотеки Конгресса; вдвоем супруги Фесенко написали книгу «Русский язык при Советах» (Н.-И., 1955). Фесенко принадлежат два сборника стихотворений, несколько мемуарных книг. В книге «Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным» (Париж, 1991) Т.Фесенко пишет: «К празднованию нашего с Андрюшей 25-летия брака Ваня привез с собой несколько стихотворений на наш выбор для посвящения нам. Мы выбрали “Мой город грозный, город грандиозный” — это напоминало нам о потрясающем впечатлении, произведенном на нас Нью-Йорком, когда после лагерного захолустья мы ступили на землю Америки» (с.57–58).

«*Жил Диоген в бочке...*» (с. 331). — *В поисках человека / Шествую с фонарем* — «Он (Диоген. — Е.В.) ходил по улицам среди дня с фонарем и кричал: “Ищу человека!” Его спрашивали: “И не нашел?” — “Хороших детей нашел в Спарте, хороших мужей — нигде”» (Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 1995. С.253). *Ужас ночного обыска* — т.е. обыска в ночь на 12 марта 1937 г., когда был арестован Венедикт Март.

ДРАКОН НА КРЫШЕ

Воспроизводится по изданию: Иван Елагин. Дракон на крыше. Роквилль: Изд-во Виктора Камкина, 1973.

Ответ (с. 339). — В эпиграф вынесена строка из стихотворения Осипа Мандельштама «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» (1931).

Со дна (с. 346). — *Наутилус* — подводный корабль капитана Немо, героя романов Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой» (1870) и «Таинственный остров» (1875).

«**Вы говорите, якобы...**» (с. 350). — *Бас-профундо* — т.е. очень низкий.

Гимн цензуре (с. 356). — Стихотворение посвящено А.И.Солженицыну, с которым лично знаком Елагин не был. Письмо А.И.Солженицына Ивану Елагину от 1986 г. с разрешения автора процитировано в предисловии к наст. изд.

«**На проспекте сносят дом...**» (с. 368). — *Лидия Шаляпина* — дочь Ф.И.Шаляпина.

У памятника Маяковскому (с. 377). — *Стоит он — / Двадцатидвухлетний, / Стоит красивый!* — парафраз строк из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1914–1915): «Иду — красивый, двадцатидвухлетний...»

Гринвич Виллидж, 1970 (с. 379). — *Тильтиль и Митиль* — героини пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица» (1905), дети дровосека, странствующие в поисках *Синей птицы*, которая должна излечить большую девочку.

«**Ваш дом — он весь в зеленых пасмах...**» (с. 386). — Прозаик *Лео-*

нид Ржевский (Суражевский; 1907–1986) и его жена Агния (р. 1923), поэтесса (литературный псевдоним — Аглая Шишкова), — эмигранты «второй волны», близкие друзья Елагина; инициал Г. — от «домашнего имени» Агнии Ржевской — Ганя. Л.Ржевский был составителем предсмертной книги «избранного» Елагина — «Тяжелые звезды». *Франц-Иосиф* — имеется в виду император Австро-Венгрии Франц Иосиф I (1830–1916).

«Я сегодня прочитал за завтраком...» (с. 388). — *Все права сохранены за автором* — формула авторского копирайта, использовавшаяся в эмиграции на русских книгах.

Дракон на крыше (с. 408). — *Я, как Гофмана герой, / Навсегда ушел в драконы!* — имеется в виду следующее место из повести Э.Т.А.Гофмана «Золотой горшок» (перев. Вл.Соловьева): «— Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живет? Также на королевской службе, или он, может быть, приватный ученый? — раздавались со всех сторон вопросы.

— Нет, — отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, — он встал на дурную дорогу и пошел в драконы» (Гофман Э.Т.А. Избр. произв.: В 3 т. М., 1962. Т.1. С.97). *Бамбури* (Бамбари) — город в Центральноафриканской республике.

Евгений Витковский

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений Витковский. Состоявшийся эмигрант 5

ПО ДОРОГЕ ОТТУДА 1953

«Усталый город пал в ночное лоно...»	43
«Там улица кончалась. Там...»	44
«Так. Маскарад вечерний начат...»	45
«Апрель! Я болен этой датой!...»	46
«Так. Детство ранено навывлет...»	47
«Тяжеловесные струи...»	48
«Эти облитые кровью...»	49
Андреевская церковь	50
«Наотмашь бьет по векам ветер меткий...»	51
«В океане сумрак долог...»	52
«У кормы дубовой сядем...»	53
«Встали за ночь сугробы в сажень...»	54
«Горят за окнами напротив...»	55
«Вот мы покинули порт!...»	56
«Остановись — бокал не допит...»	57
«О Россия — крошечная тьма...»	58
«Еще ломаем руки в гневе...»	59
«Обуглен ветром сад. Как сумерки коротки!...»	60
«Где у мола грузили арбузы...»	61
«Степь. И всходит месяц белёсый...»	62
«Ни зги, но ветер. Уличным фигляром...»	63
«О снег врасплох! О гибельный набег...»	64
«У зимних яблонь — твердый наст...»	65
«Отталкивался дым от папирос...»	66
Моя пепельница	67
«Там сук над водой перегнут...»	69
«Там тень извозчика на козлах...»	70
Терцины — Акrostих	71
«Брызги охры и кармина — осень!...»	72
«По-зимнему бор оскален...»	73
«Чернильница! Досталось и тебе...»	74
«Как руки — властители клавиш...»	75
«Всё помню об этих ивах...»	76
«Муза мстит. Всю дневную склоку...»	77
«Одеялом завешены стекла...»	78
«О, нет ни гнева, ни обиды...»	79
Окtaвы	80
«Еле виднеется...»	82
«Гнулись ивы в три погибели...»	83
«Любезная сердцу осень!...»	84
«Ты вся — эскиз карандашом...»	85

«Вот вечер — медлит и плывет...»	86
«Звенит трамвай, скрипят телеги...»	87
Сон	88
«Их было много — золотистых ливней...»	89
«Смеркается. И запах хвои слаще...»	90
«Как вечерами тротуары глухи...»	91
«Мы едем. Улицею ли?..»	92
«В парадном ночь и стужа. В две коптилки...»	93
Осада	94
«Они прошли по тысяче дорог...»	95
«Скабречно каркнув, пролетает грач...»	96
«Осунувшись, и сгорбясь, и унизясь...»	97
Камаринская	98
«Там небо приблизилось к самой земле...»	99
«Не помышлять, не думать об уюте...»	100
«В палисаднике шесть занозин...»	101
«Слова, что камень, — никогда не дрогнут...»	102
«Уже последний пехотинец пал...»	103
«Топчемся, чужую грязь меся...»	104
«Думал — осенью буду счастливым...»	105
«Год за годом — верста за верстой...»	106
«Подводила к высокому вязу...»	107
«Лужицы — как цинковые миски...»	108
«Каштановым конвоем...»	109
«День отступит, тьма поборет...»	110
«Кончается ночь снеговая...»	111
«Млечный путь осел на колею...»	112
«Ты — подброшенная монета...»	113
«Так ненужно, нелепо, случайно...»	114
«Спят на фасаде даты...»	115
«От полустанка до полустанка...»	118
«Строили да рухнуло...»	119
«Я проходил по улицам чужим...»	120
«Дальше, дальше. Там ребенок. Брось...»	121
«Кто нам солгал, что умерла война?..»	122
«За то, что руку досужую...»	123
«Что останется? Ржавчина свалок...»	124
«Кому-то кто-то что-то доказал...»	125
«Тупик. И выход ни один...»	126
«Бомбы истошный крик...»	127
«Над ветлами, над ульями...»	129
«Пока не заткнули кляпом...»	131
Звезды	132
«Родина! Мы виделись так мало...»	136
«По стенам комнатухи разбросаны...»	137
«Снова Муза моя взаперти...»	138
«Уже закаты буйствуют по кленам...»	139
«Не страшен эшафот. Позорный столб не страшен...»	140

«Видно, дела плохи...»	141
«Луна огибает барак...»	142
«Не надо их. Оставь. Они жестоки...»	143
«Мне девять лет. Я только что с перрона...»	145
«Как пристань отдалена!..»	146
«Так же звезды барахтались в озере...»	147
«Я уже по-иному слышу...»	148
«Ты разгребашь пальцами тоску...»	149
«Будет холод в забытой квартире...»	150
«Мы плыли вдоль улиц...»	151
«Ночь руками вцепилась в снег...»	152
«Спичка — девочке с косичками...»	153
«Что стоишь ты в стороне?..»	154
«Когда-нибудь и я столкнусь вплотную...»	155
«Переулок. Ограда. Фонарь...»	156
«Когда земля, вся в судорогах, ухнет...»	157
«Нас раскидало по волнам...»	158
«Навалило сугроб на полметра...»	159
«Точно родник...»	160
«Сразу же за гара́жем...»	161
«Там так же медленно краснеет верба...»	162
Голоса с Луны	163
«Это смертью звалось. До того...»	164
«Дневных лучей осеннее литье...»	165
«Моста электрический остов...»	166
«Сверкают ресторанные хлева...»	167
«И воробей на фонаре...»	168
«Как ночь эта памятна...»	169

ОТСВЕТЫ НОЧНЫЕ

«Напротив, на стене, мои соседи...»	173
«Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома...»	174
«Снова дождь затеял стирку...»	175
«Комары толклись у водоема...»	176
«Мне не знакома горечь ностальгии...»	177
«Отпускаю в дорогу, с Богом!..»	178
«Вселенная! Так вот твоя изнанка!..»	180
Из углового окна	181
«Дождь бежал по улице на цыпочках...»	182
«Небоскребы упрятались в марево...»	183
«Пробегают такси по соседнему парку...»	184
«Нежность, видно, родилась зайкой...»	185
«Всю ночь мигает вывеской отель...»	186
Черновик	187
Скрипач	188
«Еще рассвет. Еще туманный хаос...»	189

«Над мальчишкой крепким и румяным...»	190
«Я это молчание выбил, как пробку...»	191
«Пятнадцать тысяч ночей...»	192
«Снова смерть дала мне повод...»	194
«Хлопочет сердце где-то в глубине...»	195
«Сколачивали тучи в складчину...»	196
Из Рильке	197
«Деревца горят в оконных рамах...»	198
«В горячей и пыльной столице...»	199
Небо	200
«Послушай, я всё скажу без утайки...»	204
«Я вывеску приколотил...»	206
«Месяца светящийся фаянс...»	208
«Простому камню грубость...»	209
В Гринвич Вилидж	210
«В голове крутились строчки...»	212
«Напечатай объявление...»	213
«Я на заре вечерней...»	214
«Ты, малыш...»	216
Поэма без названия	219
«Наскучила косность...»	226
«Я помню чайку над заливом...»	230
«Знаю, не убьет меня злодей...»	231
Реактивный самолет	232
«Тут волна ко мне подходит вкрадчивая...»	233
«Как мятежники держат ружье...»	234
«По-ученому не говори...»	235
«Восклицанья вороны...»	236
«У вас в глазах то робость...»	237
«Ветки голы. Месяц тонок...»	239
«Другим пусть кажется завидным...»	240
«Я прошел переулком весенним...»	241
«Высунулся во мглу...»	242
«Осень, осень — торопливый график...»	243
«Мой театр ослепительно умер...»	244
Льдина	246

КОСОЙ ПОЛЕТ

Мой день	255
Письмо антиподу	259
«Хватит слоняться праздно по безднам...»	265
Поэт	267
«Неслышно входит городское лето...»	268
«Что с деревом делать осенним...»	269
«Алебастром сверкает гостиница...»	271
«Читаю Боккаччо...»	272

«Как с трамплина влетают в бассейн...»	273
«Встал у платформы дымный и шипящий...»	274
«Я решаю вопрос большой...»	275
«На Севере и на Юге...»	276
Ниагара	277
«Бог восхитился шаром...»	281
«Стопудовые и древние...»	283
«Странно и неожиданно...»	284
История стихотворца	285
«Я не знаю, где бы выпросить...»	286
Завещание	288
«Я просыпаюсь...»	293
Четыре угла	295
Битники	301
Новогоднее	303
«В музее современного искусства...»	305
«Спрашивал ответа...»	307
Дураки	309
«Я с вами проститься едва ли успею...»	322
«Да что я — бревно какое...»	324
Невозвращенец	325
«Вот мои комнаты светлые, ясные...»	327
«Мой город грозный, город грандиозный...»	329
«Жил Диоген в бочке...»	331

ДРАКОН НА КРЫШЕ

«Сурово и важно...»	337
Ответ	339
«Пробивают в асфальте дыру...»	342
«Море упрашивало: “Паша, Паша...”»	343
«На луне ни звука...»	344
Со дна	346
«Вы говорите, якобы...»	350
Гимн цензору	351
«В тяжелых звездах ночь идет...»	354
«Обернемся на минуту...»	355
Гимн цензуре	356
«Я прыгнул из окна...»	359
«Я стою под березой двадцатого века...»	360
«Мы далеки от трагичности...»	361
«Всем и каждому у нас одна дорожка...»	362
«Гости поналезли...»	363
«На скамейке без подстилки...»	365
«Брошу в церковь динамит...»	366
«На проспекте сносят дом...»	368
Современная баллада	370

«Проходил я через зал, через зал...»	372
«Чучелом в огороде...»	374
У памятника Маяковскому	377
Гринвич Вилидж, 1970	379
«Занавеска над ванной, как парус...»	381
«Блещет осень окалиной...»	383
«Ваш дом — он весь в зеленых пасмах...»	386
«На меня налетает велосипед...»	387
«Я сегодня прочитал за завтраком...»	388
Амнистия	391
«От житейских толчков...»	393
«Вышла такая гадость...»	395
«Осень. В воздухе пахнет горелым...»	398
«Операционный стол...»	399
Разговор продавца с покупателем	401
Переезд	404
«Может быть — мучение...»	407
Дракон на крыше	408
«Наша улица покато...»	411
«И направо и налево...»	412
«Листьев взвинченный полет...»	414
«Идет замедленный человек...»	416
«Я сначала зашел в гардероб...»	417
Гимн цитате	418
«Стоит у дома букинист...»	420
«По земле шатаюсь я давно...»	422
«Как только на шахматы брошу я взгляд...»	424
«Хоть возьми и с тоски угробься...»	426
«Вечера ненастные...»	428
«Ученый умно втолковывает...»	429
«Дом мой любит сотрясаться...»	432
«В осеннем сквере всё чин-чином...»	434
«Справа и слева...»	435
«Лист, качаясь, напылался...»	437
«Женщина в блеске свечей...»	438
«Бряцающие рифмами орясины!...»	439
«Я эмигрировал на озеро...»	440
«Сколотил ты свой угольный рай...»	441
«Мне хочется поговорить о ветке...»	443
«Всегда откуда-то берется...»	445
«Наверное, появится заметка...»	446
«Залезаю в коробку железную...»	447
«Строится где-то, строится где-то...»	448
«По желобку на потолке...»	449

ПРИМЕЧАНИЯ	451
------------	-----

Елагин И.

Е47 Собрание сочинений: В 2 т. Т.1: Стихотворения / Составл., подготовка текста, вступит. статья, примеч. Е.Витковского. — М.: Согласие, 1998. — 464 с.
ISBN 5-86884-063-1 (Т.1)
ISBN 5-86884-062-3

Иван Елагин (1918—1987), один из самых значительных поэтов русского зарубежья, большую часть своей жизни прожил в США. Отмеченный еще И.Бунинным как смелый и находчивый мастер стиха, высоко ценимый И.Бродским и А.Солженицыным, Елагин, оставаясь до конца своих дней русским поэтом, сумел соединить в своем творчестве две культуры — русскую и американскую. Его поэтический опыт в этом смысле уникален.

В первый том вошли стихотворения из сборников Ивана Елагина «По дороге оттуда» (1953), «Отсветы ночные» (1963), «Косой полет» (1967), «Дракон на крыше» (1973).

УДК 882

ББК 84(2Рос=Рус)6

Книги издательства «Согласие» можно приобрести по адресу:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

Телефон: (095) 959-20-60, факс: 959-20-39.

Распространение в Европе: Buchgalerie «Soglasie»,
Buttermarkt, 19, 50667 Köln, Deutschland.

Telefon: (049) 221-257-82-40, Fax: 221-257-82-37.

ИВАН ЕЛАГИН
Собрание сочинений в двух томах
Том первый

Компьютерная верстка Г.С.Азимов
Корректор Г.В.Заславская

ЛР №04055 от 16 декабря 1992 г. Сдано в набор 03.06.97. Подписано в печать 11.09.97. Формат 84х108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Ньютон. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 13,4. Тираж 5000 экз. Заказ № 508

АО «Согласие». 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

АО Типография «Новости». 107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.



